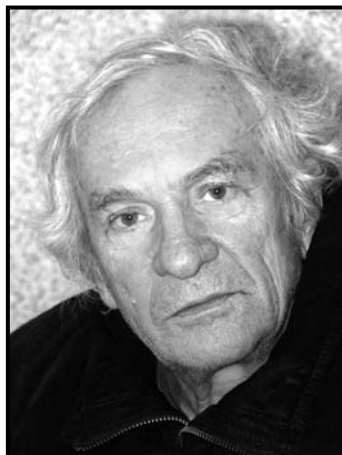


ВИКТОР ЛИХОНОСОВ



ЭХО РОДНОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

С усталыми чувствами и прощальным ощущением сроков земных приступаю я к письменному поклону уголкам своей жизни. Кое-что особо близкое, родное, будет повторяться незаметно для меня самого, и мне жалко станет вычёркивать ради каких-то обязательных художественных правил.

Благослови, Господи, помянуть заветные дни.

ЮЖНАЯ СТОРОНА

Она не знала, где эта Керчь, на каком краю Тамань, и даже близкий посёлок Сенной, откуда будет привозить осенью уголь, укрывался в каком-то тумане. Позже она побывает в Керчи с татаркой, часто заходившей к ней с базара, увидит с катера хмурый берег, под горой Митридат накупит масла, гречки, ещё чего-то и к вечеру вернётся. Матушка моя была малограмотная, в школе в селе Елизаветино проучилась она всего ничего: три года. Знала, где всходит и где заходит солнце, и это была вся её география. Влепую ехала она и ко мне в южную сторону. Ехала четыре дня, смотрела на просторы, деревни и реки и дивилась, какая длинная выстилается земля, сколько откуда-то набегают непохожих станций, на полосе между рельсами снуют и торгуют какие-то несибирские люди, иногда поезд надолго

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович родился в 1936 году на станции Тотки Кемеровской области. Детские и школьные годы прошли в Новосибирске. Окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Автор книг "Вечера", "На долгую память", "Осень в Тамани", "Элегия", романов "Когда же мы встретимся?" и "Наш маленький Париж". Лауреат Государственной премии России и международной премии имени Шолохова. Был главным редактором журнала "Родная Кубань". Жил в Краснодаре.

замирает и чего-то ждёт, в больших городах подсаживаются новые пассажиры, она с опаской оглядывает их: городов проехали много, она слышала или читала названия (Омск, Златоуст, Курган, Уфа) и тайно желала, чтобы провезли её через Воронеж, потом через Росошь (от Росоши не так далеко до Бутурлиновки и её деревни). В Росоши поезд задержался на полчаса, она осмелилась выйти из вагона, оглянулась по сторонам, присмотрелась к торгующим белорыбицей, подошла, спросила, почём, разжала кулачок с деньгами, купила “ради такого случая” и, словно породившись, наклонилась к торопливой торговке и тихонечко сказала: “Деточка, подскажи, а до Бутурлиновки далековатно? Чем можно доехать?” Та всё расписала подробно. Когда поезд медленно потянулся вперёд и вскоре застучал чаще, она как-то сиротски не расставалась с очерченным вдаль горизонтом, за которым ещё целой жила её деревня Елизаветино. Матушка не показывалась там с тридцатых годов.

Она уезжала из Сибири навсегда и — я думаю — и день, и другой не терялся покинутый Новосибирск с его Обью, левобережным Кривощёково, улицей Озёрной и первыми станциями на западе: Толмачёво, Коченево, Чик. Ещё всего было жалко: не до конца убранного огорода, кустов смородины с густой крупной ягодой, курочек с петухом, срочные погубленных топором или отданных соседям, зеркало, в которое смотрелась утром и перед выходом в магазин, на базар, крашенных полов с дорожками, даже вёдер и граблей, то есть всего, что вмиг осталось без хозяйки. Я не спрашивал её, как она прощалась с соседями, кто сидел за столом и кто поехал провожать через Обь на вокзал, что говорили, как последний раз прогремели колёса на мосту, миновали вагоны Горскую, нашу станцию Кривощёково.

Я теперь ругаю себя, что напоследок, в середине сентября, когда мать с отчимом продавала дом и отбирала в контейнер самое необходимое и памятное (подушки, тяжёлый шкаф с зеркалом на дверце, бабушкин елизаветинский уют, буфет красного дерева), не заявился пережить с ней дни прощания с Озёрной.

Был на земле день, когда не стало её там, где она впервые затевала с моим отцом новую жизнь, переехала со мной двухмесячным из Топок, облюбовала дом на взгорке и потихоньку привыкала просыпаться в чужом дворе. Сорок лет жить и жить на одном месте, натопать во все концы тропинки, считать все улицы, барачные и каменные дома, станцию и болото возле неё, привычные трамваи, баню, базар и магазины своими, единственно кривощёковскими и... вдруг слёзно обернуться на всё и уехать! Ведь думала в родительские дни, помяная у могилок озёрских покойников, что и её принесут когда-то на Клециху или в берёзовый колок в Топках, а поезд повёз туда, где нет ни родни, ни закадычных знакомых. В Кривощёкове никто больше не повстречает её. Сперва прощально уходил от угла (с домом Шальневых) Иван Фёдорович, потом через пятнадцать лет я, а ещё через двадцать заплакала за воротами матушка.

Сама себе потом не верила, как быстро согласилась на такую разлуку. Раньше боязно было бы и подумать о каком-то селении у моря. На четвёртый день тревожно въезжала она в южный город и вроде как пленная вышла из вагона, неуверенно улыбнулась сыну, сутки побывала в его просторной квартире и поехала через желтеющую степь, через какой-то Темрюк, увидела от маяка согнутую белую полоску берега, ровное море, в посёлке базарные ряды, улочку, поворот к низенькой турлучной хате с тремя кошечками в палисадник. Всё было в первые часы странным, чужим, даже опасным. В магазине, куда на другой день ходила она за хлебом, не те, что в Кривощёкове, хлопотали за прилавком продавщицы, говор слышался не сибирский, хаты и заборчики у всех побелённые. Всё было непривычным. У себя она сорок лет ходила в магазин так: мимо дома Банниковых вверх к трамвайной остановке Лагерная, там сворачивала к деревянному бараку и шла вдоль таких же до угла. Баню в посёлке только строили, “а у нас, — думала, — даже две, мы ходили в ближнюю”. Железной дороги не видно, река под Темрюком какая-то узенькая, не то, что Обь. Базар маленький, торгуют до обеда.

В большом покато́м огороде теснились виноградные ряды. А за сетчатым слабеньким забором скрывалась чуть поодаль прорытая протока, и на высоком валу стояла на одной ноге тонкая птица. Она так мёртво держалась долго-долго, словно кого-то ждала.

То оказалась цапля.

УЛИЦА ЧАПАЕВА, 3

Пересыпь для меня обнаружилась внезапно. Покорённый Таманью, я много лет ездил туда через Темрюк, за Голубицкой ни разу не полюбовался из тесного автобуса тем чудным лукоморьем, о котором буду писать и рассказывать дальним друзьям, проскакивал, не замечая, рыбацкий посёлок, называвшийся Пересыпью. Потом уж страшно было подумать о том, что я по какому-то упущению мог лишиться такого счастья: обрести Пересыпь своею. “И не знал бы, — говорил я с улыбкой соседям на свой день рождения, — что есть такая песчаная даль у воды, есть улица Чапаева, а с краешку — большой огород и турлучная хатка, напротив семья (бывшие ахтанизовцы), в проулке — мать почтальонши Харитоновна, туда по улице — Клава (у неё будем брать молочко), Роман Акимович, Тоня с Сергеем, дальше — татарка Анна (из магазина с хлебом пройдёт — усядется побалакать или просто окликнет, поздоровается), на самом конце — Фаина Ивановна, долго нам не известная, да потом она-то и будет убирать больную мою старушку и кормить...

— И почему она так сразу и удачно выпала, как козырная карта, эта Пересыпь, не знаю, не догадываюсь. Помню, автобус переезжал гирло по старому, ещё казачьему железному арочному мосту, взбирался тут же на дорогу, сворачивал на Ахтанизовскую и мимо горы Бориса и Глеба, которую я тоже не поймал взглядом, бежал сбоку к хутору Солёному, а там и на Сенную, вдоль Таманского залива... Ну, ничто не предсказывало мне: ты проезжаешь посёлок, который станет для тебя заповедным. Так бы и мелькала табличка “Пересыпь”, так бы и не подбирал перья чаек... если бы не случай, так бы и промелькал мимо из Краснодара в Коктебель.

Была весна, поднимался я в Коктебеле высоко к могиле поэта Волошина, ходил в Лягушачью бухту, подбирал в воде яшму, сердолики и опалы, чествовали мы в столовой на зелёной веранде тридцатилетие победы над Германией, а девятнадцатого мая собрал я вещички и выехал в Феодосию, каким-то рейсом за два часа (с перекуром на станции Семь колодезей) добрался к Керчи, скоренько попал на катер “Егор Клебанов” и, блаженно узнавая то, что видел недавно, переживая текучие чудеса времени, приплыл к порту Кавказ, всё такому же, как и в прошлом месяце, и в ожидании стоянки в Темрюке поглядывал на виноградные зеленеющие ряды. Ничто мне не предсказывало короткого события, которое переменит наше с матушкой будущее.

Автобус сломался как раз в Пересыпи, возле памятника лётчицам. Я с досадой вылез наружу перекурить, осмотрелся и приметил то, мимо чего уже с сентября буду прохаживаться целых двадцать пять лет. “Вот ещё где люди живут”... — подумалось мне. Белые каменные заборчики прикрывали дворы на той стороне, что поближе к морю, а поперёк от дороги на Ахтанизовскую начинается короткий переулочек Лермонтова, по которому моя матушка будет проходить с базара к своей хате на углу улицы Чапаева. Будет привыкать к незнакомым хозяевам дворов, здороваться с толстой болезненной казачкой, сидевшей по вечерам за фигурными воротцами на табуретке, а муж её Гриша часто будет встречаться с удочками и ведром (рыбачил на протоке за нашим огородом). Для меня этот переулочек станет каким-то заветным, вещим, по нему я буду приближаться к хате после долгой дороги, идти из гостей в полуночи прямо на повисшую над Ахтанизовским лиманом белую лёгкую луну и частенько при этом радоваться, что матушка живёт в удобном тихом уголку. Пассажиры заскучали, а я отлучился на поредевший рынок, узнал чуть-чуть, как пересыпцы пережили шесть лет назад морскую ураганную беду (потопило только Калабатку за гирлом) да как жили

без света после войны, и даже узнал, что зимой подбрасывали в печку вместо дров сушёные судаки (так много ловилось рыбы когда-то), а икру таскали женщины на коромысле в вёдрах. И вернулся я к автобусу, водитель стыдливо переживал неудачу и выходил на середину дороги просить помощи у собратьев. Тогда я подался на берег моря.

.....

Всё изменится через срок, исчезнет рыбацкий колхоз, растащат хозяйство до нитки, продадут народный клуб, кто-то уберёт даже лавочку на кручке кручи, где я со скрытым восторгом разглядывал берег. От кручи простиралась широкая песчаная долина с кустами зелени, в дальние стороны на восток и на запад утекала безлюдная тишина. Райский ветерок веял над водою, неохотно и тихо наползавшей к ракушкам. Азовское море разливалось к горизонту, за ним лежали украинские степи. Я позавидовал рыбакам, проживавшим в этом раю.

Господь уже приберёт мне счастье, но я ещё не догадывался. Всё обернётся как-то само собой.

На базаре жена рыбака сказала мне, что на улице Чапаева, в крайней хате, живёт с девочкой женщина, у неё водится вкусное и дешёвое вино.

Да, маленькая белая хатка стояла с краю улицы Чапаева. Я успел к ней зайти, легко сторговался, спускался с нею в подвал (и буду много раз спускаться потом), пахнувший кислой сыростью, помогал отливать и мигом пробовать вкус “изабеллы”, потом в хате хозяйка по фамилии Родная, полная, чернявая, угостила лёгким обедом и бокальчиком молдавского сорта, позалетного, такого вкусного, что я чуть не купил ещё десять литров. Тут она и призналась, что широкое своё подворье с виноградником она продаёт. Я с какой-то отчаянной жадностью ухватился за возможную покупку и попросил её подождать до осени. Она и ждала, но не ради меня, а потому, что мечтала собрать последний раз виноград и продать. Нам повезло. А то поселил бы я матушку в гористой станице Ставропольской, которую я как-то присматривал зимой, и чем бы я тогда умилился, в какую Керчь и Тамань ездил во все времена года? Я написал в Новосибирск: так и так, нашёл редкое местечко близ моря и хотел бы, наконец, опять жить, мама, с тобою поблизости, душа моя намаялась за двадцать лет без родни. Это было в мае. Ещё была жива бабушка Анастасия Степановна Бывальцева (по отцу Гайворонская). А в июле месяца (тридцатого) она умерла... Поехала дочь Татьяна Андреевна прощаться в Топки. В дневнике моём переписано моей рукой известие от матери. Слава Богу, не потерялось, как кое-что другое, весьма важное.

“Последнюю неделю перед смертью стали у неё отекать ноги, но она всё не поддавалась, сама ступала на крыльечко; посидит на вольном воздухе, помолчит, боролась. Всех ей в последние дни хотелось повидать. Вспоминала и тебя: “Что-то не стал бабушке писать”. Всех-всех перебрала, чувствовала наверно, что не поправится. У тёти Гали спрашивала: “Тышко не присылал письмо? Так и не прїехав в Топки до сестры. Жинка не пустила? Одну похоронил, а молодую взял. Я с ним часто балакаю”. Я её попроведала, она мне сказала: “Я, наверно, не осилю, аппетита нет”. Потом я ей письмо послала, то она письмо прочитала ещё раз, под этот день, как ей умирать. Говорила Гале, жалела, что не съездила за последние десять лет в Елизаветино, могилки бы проведала, попрощалась с покойниками. Ночью сама на двор уже встать не смогла, закричала: “Галько, Галько!” И Галя помогла ей встать. Она уснула, это было в три часа ночи, и спала до девяти часов. Галя что ни подойдёт — она спит. Потом стала у неё спрашивать: “Мамо, я кашу сварила, будете кушать?” Она уже не отозвалась, речь отнялась. Тут Галя забегала: “Бабушка умирает!” Скорей свечку зажгла, и тогда она застонала и утихла совсем. В десять часов утра. Тридцатого июля. Как хотела помереть: летом, и на своих ногах, и в своей хате. Так ей Бог отпустил. Зимы боялась. “Будут мужики могилу копать, ругаться”, — говорила. Все попрїезжали. Вспоминали тебя, что ты так далеко. Могилу копали внуки. Много с улицы Кузнецкой провожало её людей, она ж всем печки клала, да и так дружила, чувашки её любили. Заносили в церкву, отпевали — как она наказывала. Смерть ей хорошая”.

В пересыпском красном блокноте моём закрепил я в нескольких строчках, как тою же осенью у нас были гости из Тамани, тоже сибиряки, я принёс из подвала кувшин вина, доставшегося нам в толстом бочонке от хозяйки, долго и дружно посидели мы под орехом, повспоминали Новокузнецк и Топки, матушка вдруг попросила: “Выпейте, помяните нашу бабушку, она мне ночью снилась...”

Кажется, вчера это было. Вчера же испугались старики, перенервничали, когда по каким-то куркульским мотивам поселковая власть (в лице колхозного парторга) не желала пускать на казачью землю незваных и бесполезных стариков и не давала справки на покупку усадьбы. Меня они не читали и фамилию мою слышали впервые. Так бы и сидеть старикам, “припёршимся к морю издалека”, на чемоданах и с плачем думать, как теперь поворачивать контейнер назад по железной дороге, если бы не сочинил я четыре года назад повестушку “Осень в Тамани”. Повесть по наущению темрюкского партийного идеолога разбили вдребезги в самой Тамани, но помешать купле-продаже не решились, позвонили парторгу и сказали, наверно, так: “Да ладно, не встревайте”.

— А если бы тяжба затянулась, хозяйка могла бы передумать, приспели бы другие покупатели, — говорил я много позже писателям, приезжавшим наскоро из Коктебеля на мой первый юбилей. — Хозяйка бы передумала, приспели бы другие покупатели, накинули побольше, и... прощай, Пересыпь! Не в этом дворе поднимал бы я голову на Большую Медведицу. Кого бы мы ждали там вон на низу, у камышей? Или на трассе? Никто бы и не приехал к нам. Настя с Ольгой ворчали бы: “Что вы выбрали болото...” Повезло. Всё в жизни привязано к счастливым или несчастным случаям. Или-или. Господь Бог в какой раз пожалел меня. Страшно теперь подумать, что какой-то парторг поломал бы мне жизнь, ибо Пересыпь в чём-то спасла меня, подарила мне прелесть, загадку истории даже вокруг станицы Ахтанизовской, красоту, Меотиду (Азовское море и Тирамбе), покой матери и... и... Можно говорить без конца. А если бы не случилось так, то... Не гулял бы я с палочкой по берегу (какому-то притихшему, даже вечному), не лежал у гирла на куче мокрых ракушек (и выбирал “кувшинчики” — чтобы нанизать на нитку и повесить под фотографией отца на стене), не смотрел бы каждый раз в сторону Крыма (и воображал там за горой Митридата, за Феодосией Коктебель), чаечки не накричали бы мне в долгую певучую осень вещей мелодий, в моих блокнотах и в любимых книжках не лежали бы закладками птичьи перья, которые я подбирал на песке ещё тёплыми, не всходил бы с ракушками в детском ведёрочке на холм после прогулок, не спускался в подвал к бочке с вином, не следил за луной над Ахтанизовской... Повезло, братцы мои! Вас бы не позвал из Коктебеля. Повезло. А то бы... Прощай, широкое чудное подворье... Сколько раз потом, гуляя по посёлку, ахал, радовался: наша усадьба такая пригожая, благословенная; и от шума в стороне, и от моря недалеко, и цапля за огородом гостит.

В октябре мать писала сестре в похолодавшие Топки: “Хату купили маленькую, печку будем переключивать, трамваи по утрам не звенят, а шумит где-то за дорогой море, но я не была ещё там, некогда, надо топливом запастись и зимовать, с непривычки путаюсь в словах, не так станицу соседнюю называю, где-то Керчь какая-то, туда за мясом и маслом ездит, а Витя в Тамань или в Тумань какую навевывался, в общем, переселились, а там как Бог даст...” В январе она справила свои шестьдесят два года, отчиму грянуло семьдесят. Мне нынче больше. Хату записали на отчима, пусть не считает себя лишним, приёмным, а ворочается на усадьбе как полный хозяин. В Сибири он появился на Озёрной возле матери в тот год, когда я заканчивал институт; мать робко извещала меня (“приняла человека, одной плохо”) и тем просила моего согласия. Фамилия у него была заметная: Фарафонов. Теперь мне надо было молить Бога, чтобы старик не разочаровался и не поманил мать назад; не задыхался от астмы и хвастался в письмах богатым виноградником, растянувшимся по огороду в несколько рядов. Немножко жадный, он надеялся развернуться с урожаем винограда, даже разбогатеть:

шофёр из Запорожской писал стихи, я их похвалил, и он на радостях привёз отчиму большую старомодную бочку.

Я теперь перебираю порою те дни далёкой осени и жалею мать, и отчима. Они переживали молча, на заре в дремоте им казалось, что они ещё дома и скоро им идти за хлебом мимо деревянных бараков, но глаза откроются, и печально удивит низенький белый потолок, маленькие окошки. Садясь вечером ужинать, матушка вдруг спрашивала: “Сколько уже? — Восемь почти. — А у нас в Новосибирске двенадцать. Спать ложатся”. И опускала глаза, как-то несчастливо молчала. Ещё грустнее было, когда с железнодорожной станции Славянская прибыли два контейнера с вещами, буфетом и шкафом с зеркалом во всю дверцу. Это уже всё, назад дороги нет, так нечаянно, сразу оторвались они от Сибири. Как теперь привыкать к чужим людям, магазинам, к соседней станции Ахтанизовской и к Темрюку с его рыбными базарами и магазинами?

МИЛОСТЬ БОЖИЯ

Пересыпь! Буду часто приезжать к матери, просыпаться и видеть серый месяц над Сенной, срывать верхушку росного укропа, греметь ведром в глубоком колоде. Пойду проулочком к морю, посижу на скамейке, спущусь, почувствую подошвами ракушки и мокрый песок, иногда на восходе приведу сюда матушку, будем забирать с волной в сеточку рачков (для курочек), вытряхивать в ведро. Утро, поистине целые века дремлют вокруг в тишине. На длинном берегу (от Голубицкой до Кучугур) не вымотришь и души.

Я стану обживать новое местечко вместе с матерью, родниться с ним самой судьбой. Куплю два изящных книжных шкафчика, в одном из них, что в углу между двух окошек, сложу свои тетрадки и блокноты, расставлю заветные книги, керченские фарфоровые кружки (для ручек и карандашей), красные толстые тома дневников и всё прочее, что будет меня ждать и, думаю, даже тосковать по мне. Диван мой поместится слева у стены, на ширине его спинки займут своё местечко и свежие журналы, и рижская “Спидола”, по которой я приучусь выхватывать в эфире треск и шум радиостанций “Свобода”, “Голос Америки” и “Би-би-си”. Русские дикторы Вера Спасская, Алексей Рети и Наталия Кларксон, священники Иоанн Сан-Францисский, Виктор Потапов, сын великого Петра Столыпина — Аркадий, графиня Воронцова-Дашкова, княгиня Зинаида Шаховская и прочие будут странными гостями в моей хатке, в моей комнатке с четырьмя окошками и лишний раз притянут мою душу к потерянной царской России.

Осенью по матушкиной просьбе не поленюсь ходить за четыре версты в Ахтанизовскую и в бывшем казачьем станичном правлении выписывать пару мешков пшеницы для курочек, иногда тяжёлую банку мёда, ещё чего-то (не вспомню); заговоримся с председателем совхоза о досужих проблемах, полаем всякие непорядки наверху. От председателя пройду мимо памятника войне 1812 года и сквера, где уже не стоит церковь Бориса и Глеба, к хозяйственному магазину, где покупатели здороваются с продавцом и мимоходом что-то местное обсуждают, потом, не рассчитывая на то, что кто-то меня, незнакомого, подвезёт, тихонько буду идти мимо белых хат, индюков за дворами, мимо пустырей, так и не застроенных после раскулачивания и выселения сильных хозяев, поверну в конце станицы налево и выступило уже в степь, пойду мимо рыбных прудов, созерцая вдалеке на горизонте посёлок старообрядцев, появившихся из Румынии после войны, снова поверну и буду идти и думать, что сейчас за большими амбарами справа (где завтра и отсыпят мне пшенички в мешок) уже и край Пересыпи, уже и поворот к последнему дому на улице Чапаева (в нём жила не известная мне Фаина Ивановна, которая через двадцать два года согласится ухаживать за моей лежачей матушкой), уже и на другом краю наша низенькая турлучная хатка, простенные ворота, двор, ласковая собачка, кухонька (уголок моих писаний), погреб, сад и на низу — виноградник... Так привыкну к этому, что не подумаю о расставании...

Иногда в Ахтанизовской нечаянно забредал я на кладбище, читал над могилами старые казачьи фамилии (Лисовицкая, Софрон-Бурло, Штригель,

Обабко, Прийма, Гульй), оттуда возвращался к лиману и сквозь заросли бузины долго, молитвенно глядел на забытую поздними жителями гору Бориса и Глеба. Поскольку всё меня очаровывало своей сиротливостью, тишиной и какой-то нераспознанной заповедностью, я тут вспоминал даже то, как мы с писателями, пробираясь в Тамань, соскочили на закоулочную дорожку станицы, чуть-чуть заблудились и призвали на помощь старушку. Она нам всё рассказала, и мы спросили: “Как вас зовут?” И мы потом с улыбкой копировали её детскую простоту и доверчивость: “Спросите Фаину Мороз. Где, спросите, Фаина Мороз, шо у гаража?” На кладбище я постоял и у её могилы. “Фаина Мороз, шо у гаража”.

Зажгусь я искать эту Азовскую Пересыпь в старых царских журналах, несколько строчек выловлю в “Морском сборнике”, пороюсь в главном архиве в Краснодаре, даже у Николенки Толстого (братишки Льва Николаевича). “Пересыпская станица” в его повести померещится мне Пересыпью... нашей. Лев Толстой пишет, что тётушка Ергольская “...научила меня прелести неторопливой одинокой жизни”. Такая жизнь будет у меня возле матери в тихом дворе и на огороде, у железного (ещё царских дней) моста через гирло, на песке и в том месте, где рядом с базой “Азов” спуск вдоль кручи пологий. Всю первую осень после Коктебеля проведу я у плескучей воды на чистеньком гладком песке с тетрадкой, в самые протяжные, какие-то вечные часы буду писать главы романа “Когда же мы встретимся?” (О Боже, сколько долгих лет мне ещё жить в такой... вечности у этой воды...)

“Ты спрашиваешь, сестра, сколько будет стоить оградка на могилу нашей матери. Не беспокойся, денег не посылай, это я сделала и для себя, моё будет место, и никаких денег я не возьму, и брату Фёдору не пиши, я ему говорила как-то, чтоб маме поставить памятник, а он мне сказал: “Да пусть пока и этот крест постоит”. Ты приглашаешь приехать в августе, очень дальняя дорога, как-то я боюсь, много пересадок, здоровье уже не то, не знаю, как поступить. Галя. Топки”.

Уже станет матушка привыкать к песчаному местечку и “дорогую сестричку Галю” и всех родных попросит принять “наш кубанский привет”. И всё чаще побеспокоится на ночь: “Завтра надо бы письмо написать в Топки...” Пришлют земляки книгу “Словарь сибирских говоров”, матушка как раз посылит огурцы, ужинать сядем поздно, под луной, будем говорить о родне, а отчим будет слушать и думать о дочках, которые давно не пишут ему... Курочки в сарае, рассада на окошке в апреле, долгий ужин на кухне с помидорами “бычье сердце”, приезд из Тамани к её (в январе) и моему (в апреле) дням рождения сибиряков Когтевых, совсем утихающая улица к часу восхождения над хатой Большой Медведицы, аромат виноградной “изабеллы” у ворот, вхождение в хату, печка, постель — всё уживётся в привычное, уже не сибирское. И в оный день я запишу в дневнике: “Шесть часов вечера. Шёл потихоньку к хате с моря по переулку Лермонтова и шёпотом души восклицал: “Ах, как хорошо, Господи. Спасибо тебе, Боже”. В этот вечер я и послал свои восторги в конверте в село Утятское своему другу, воздушные слова о чаечках, услаждавших порханием, пережиданием мгновений на песке у гирла, встряхиванием крыльев, криками над волнами мою долгую прогулку в сторону Голубицкой”.

Вольная писательская доля удостоит меня частых счастливых появлений у матери. На полмесяца, подольше стану отрываться от городского дома, обкуривать комнаты, на всю громкость пускать с кассет любимые романсы, укрываться за пишущей машинкой. И она ни разу не закричит на меня, ничем не нарушит мой распорядок, никого из моих даже случайных гостей не прогонит плохим взглядом. Вот стучится кто-то в полночь: о, Господи, принесла нелёгкая шофёра из дальней станицы, который как-то утянул для нас бочку под вино и с тех пор полюбил заглядывать к Андреевне “на минутку”. Да похвастаться передо мной новым самодельным стихотворением. И мать без всякого ропота открывает посреди ночи подвал, набирает там огурчиков, наливают в кружку вина и потом сидит с чувством благодарной должницы и пережидает, когда наговорится и начнёт расставаться громкий шофёр. Сколько разного народа поперебывало в нашем дворе, и никто не был обижен.

Но ещё неведома мне печаль от таких записей, которые накопятся в толстых красных томах: о тех же чайках и их тёплых оброненных перьях, о кротости пустых осенних огородов, о красном солнечном шаре, прощающем нас ночью над Таманью и Керчью, о неожиданном толстом покрове во дворе и в саду, напоминавшем о долгой сибирской зиме, о дождях и сумерках в хате. Это и всё другое запишется мною... на мою скорбь...

Будут записи в красном дневнике, что приехал я как-то в ноябре в девять вечера, кругом тихо, прохладно, осень убралась с плодами, но кое-где в саду висят ещё яблоки, листья винограда зелёные, за воротами — смиренная куча угля, на столе поджидают меня письма и бандероли. Эти первые минуты после дороги, после городского быта тонко возвращают меня к тому дню, когда я последний раз уезжал, жалел мать, родственно оглядывал двор, улицы, позабыл и диван, на котором обычно сплю и читаю, и сад, стол под орехом, но потом быстро затерялся вдали на тетрадки в шкафу, и низкий потолок в кухоньке, где я писал два романа. Вернулся и удивляюсь: как это всё проживало без меня? Всё на том же месте, только поредел огород, всё матерью собрано, лишь по уцелевшему кочану капусты ползает божья коровка. Её так любишь, жалеешь. Заказные пакеты из Сибири и из Москвы, из Киева (заказывал том Костомарова и “Историю Запорожского войска” Эварницкого) лежат на почте, завтра поскорее забрать, торопливо разрезать и вынуть, скорее всего полистать! А к вечеру мать подходит и выставляет руку с письмом от крёстной: “Читала, глаза плохие”, — просит почитать ещё. Жили при советской власти, и не было ничего удивительного в том, что к праздникам присылались такие строки: “Здравствуйте, мои родные, сестричка и крестник Витя. Спешу навестить вас своим письмом и поздравить с великим днём Октябрьской революции...” Многожды пробудится моя матушка на заре, покормит курочек, поджарит картошки, заварит чаёк, укроет полотенчиком пузатый чайник и прощуршит подошвами от кухни к хате, взойдёт в комнатку, где я обычно сплю на диване, разбудит касанием руки по одеялу и скажет: “Вставай, а то опоздаешь...” Я наметил ехать в Темрюк или в Тамань.

Разбудила бы она меня теперь... Будущих потерь не предчувствуем мы.

И будет ещё здравствовать в деревне Елизаветино брат бабушки Тихон (переживёт её на четыре года), странно, горько, что я не поехал к нему, и долго ещё до конца века поковыряется в огороде на улице (по-народному) Кочерыжка, покормит курочек и поросят отцова сестра Татьяна Фёдоровна, но и её не провожаю я, никогда-никогда не обниму родную кровинушку, не спрошу её о бабушке Пелагее. Ещё привезу сюда из Петрозаводска фотоснимок: дочь того, кто крестил моего отца, Прасковья Григоровна, пришла на вокзал провожать меня, я приезжал в компании знаменитых русских писателей. Она дружила с моей матерью в Сибири, жили они на улице Демьяновской, за болотом. Дочь её Маруся напишет в Пересышь в июне 1984 года: “Она вас просит, тётя Таня, написать ей хотя бы немножко, всё вас вспоминает, вашу молодость и как вы дружили в Сибири; по телевизору когда говорят о погоде на Кубани, она спрашивает: это там, где Таня живёт?”

В повести “На долгую память” я поместил два её письма.

Многие поинтересуются местечком, где осела сибирячка Таня. Приедет в гости мой крёстный Фёдор Андреевич с сыном, на похороны отчима соберётся на самолёт крёстная Галина Андреевна, из Коктебеля совершит на своей машине прогулку бедовый и речистый Олег Николаевич, запомнит мгновение во дворе и у моря жена друга-писателя Люся, с московскими писателями дружно рассядемся под орехом в день моего пятидесятилетия, ещё не уведомлённые правительством о чернобыльской атомной аварии третьего дня.

Чистые листы в красном томе семь лет будут ждать пометок детского почерка: “Я уезжаю в Краснодар. Я прощаюсь с Белкой. Я прощаюсь с цыплятами. Я прощаюсь с котом Мусатиком. До свидания, Пересышь. Я приеду ещё зимой. А ещё с бабушкой Таней прощаюсь. Настя”.

И ещё неведомо мне, что в той амбарной книге, в которой я писал роман о Екатеринодаре, уляжется матушкина записка на крошечном листочке: “Витя, я ушла нащёт пшеницы; если задержусь, то выходи встречать, иди по дороге”

В неделю перед поминовением святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста скромно отметим матушкино семидесятилетие. Весной приеду на свой день рождения и прочту залежавшееся письмо от Пахомыча (соседа нашего Шальнева): умерли на Озёрной Банников, Бутюгин, Заварзин, Котельников...

А разве нет тайного смысла, предопределения, наконец, укрепления памяти о твоей жизни в том, что на улице Чапаева, 3 принимал ты близко к сердцу, о чём горестно или возвышенно думал и что читал, как откровение? Так за восемь лет до хождения по Стамбулу (Константинополю) притихал я над строчками Зосимы, побывавшего в Царьграде в начале XV века. И он увидел там то, чего уже не могли показать нам пять веков спустя. Он видел доску, на которой несли Христа ко гробу, а на этой доске замечали... слёзы Богородицы, белые, как молоко, в монастыре берегли сосуд, в котором Господь превращал воду в вино в Кане Галилейской. В другом монастыре “святые страсти Спасителя”: копьё, коим его кололи, древко, губка, хлебец с вечери с учениками своими, камень, который евреи подложили под Его голову, волосы Богородицы... Душа моя по-детски замирала от самого дива, оттого, что это больше тысячи лет кто-то прятал и хранил. Тут вошла с огорода мать моя и словно прозрела ту минуту, которая досталась мне нечаянно. “Что читаешь?” Я ей пересказал. Она склонила голову и жалобно помолчала недолго. Повернулась и как-то скорбно отступала спиной дальше и дальше. Я вышел за ней. Она спускалась в огород к воротцам, что запирались с болота. Стояла там и на что-то смотрела. А там на валу протоки опять держалась на одной ноге цапля, — может, та самая, которая оказалась у воды в день её приезда. Этот день не забудется мной никогда.

Но в Стамбуле (Константинополе) я потом увижу в султанском музее десницу Иоанна Крестителя...

В кухоньке буду писать четыре года роман “Наш маленький Париж”, возить туда-сюда набитый бумагами портфель, а напоследок по легкомыслию своему нагрузу два портфеля готовой рукописью и в Славянске-на-Кубани отстану от автобуса, побегу с испуганным криком за ним, уже представляя, как роман мой уедет от меня навсегда, но Господь Бог помиловал меня тут же: шофёр притормозил, подобрал двух женщин и, увидев меня, вызвавшего о помощи поднятой рукой. На прогулке к гирлу придумается новый заголовок к роману: вместо “Гризны” назову-ка “Извозчик Терёшка”, и у того же гирла с тихими чайками вспомнятся мне беседы с екатеринодарками и их восклицательное умиление своим городом: “Ах, наш маленький Париж!” Заголовок переменится навсегда. Теперь все мои муки и сомнения, усталость кажутся счастьем. Наверное, и все уголки помнят меня, то сторбленного над амбарной книгой, то растянувшегося на койке или на любимом диване (с книгой, листочками), то гуляющего до гирла с томиком переписки царя с супругой Александрой Фёдоровной. В Пересыпи я собраннее жил в... царской России вместе со своими героями. Вечером как-то писал главу и слушал по западному радио “Сутубую ектенью” Гречанинова в исполнении Шалыпина и ещё слезливее тосковал по старой России. Помнит ли июльский, августовский берег, как я долго шёл на запад, до брошенного ржавого судна, поворачивал и растягивался в движении до самого гирла, там приседал на мокрую кучку ракушек и выскабливал пальцем “кувшинчики”, чайки же усаживались чуть ли не вокруг меня и чего-то ждали? Были счастливые мгновения от одного лишь пребывания в Пересыпи, созерцания вод Меотиды (Азова), волшебного предчувствия за Кучугурским мысом Крыма. Рядом было всё историческое. Скатишься с моста через Кубань, последние мгновения протекающей под Темрюком и вскоре умирающей в Азовском море, и тут же где-то перед Голубицкой заросшие травой недра старого Темрюка, загадочного, почти не известного. Лермонтов в болотистой просеке меж

камышей видел только небо и ехал то ли прямо вдоль лимана или свернул на Старотитаровскую. Всего пятьдесят вёрст отсюда до песчаной Анапы. Из Пересыпи в Анапу выезжал я через Ахтанизовскую, сворачивал налево и долиной (прерванным насыпью руслом лимана) поднимался склон, с которого видна забытая гора Бориса и Глеба. Дальше немецкая Джигинка, Уташ, а от Джигинки налево — Варениковская. В этом-то углу с казачьим отрядом брат Пушкина Лев выискивал удобный, не замоченный путь на Анапу, взятую в 1828 году у турок генералом Гудовичем. Не так уж далеко, под Варениковской, упряталась бывшая усадьба графа Сумарокова-Эльстона, которая тоже была дарована моей судьбе самим Господом на короткий срок. А уж о Сенной, греческой Фанагории с землями (по преданию) деда Демосфена, о сказочной Тьмутаракани-Таматархе, о Кизилташском лимане за ней я в Сибири и помечтать не смог бы. И всё это царство веков струилось в моей душе частым дальним дуновением и помогало мне слышать и музыку времён запорожцев, прибывших на лодках-чаечках туда, где при турках цвели “сады Семирамиды”. С тетрадкой или книжкой я возвращался с берега к хате, матушка угощала меня помидорами, котлетками с картофельным пюре и подливкой или супчиком, я нагибался в двери холодного подвала, отливал в большую кружку сверкающего вина, сам себя благословлял на тонкие странички “о протекании века человеческого”. В амбарных книгах на пустых листах много мгновенных росчерков моих трудолюбивых дней. Однажды в пасмурный майский вечер, оторвавшись от странички с главой “Чашка чая”, зайду в хату, увижу на диване спящую матушку: легла посмотреть телепередачу и заснула, рукой подпёрла голову. Я пожалел её: завтра уеду со своим тугим портфелем, а она так вот будет коротать вечер одна. И никто не войдёт, ничего не скажет, и перед сном не с кем будет перекинуться словом. Так было с ней и в 43 года, когда я сорвался на юг. Теперь ей набезало 69, а мне было ещё 46. И я, сибиряк, заканчивал роман о чужой стороне. В романе “Наш маленький Париж” я буду скорбеть о тех, кого уже нет на земле (о Толстопятах, Шкуропатских, наказных атаманах, георгиевских офицерах, о государях и князьях, о нижних чинах в царском конвое из станицы Пашковской и Елизаветинской), а по просторам русской земли, по горам Кавказа и пескам Средней Азии будут ещё здравствовать знакомые мне современники, по которым я теперь, уже в двадцать первом веке, соболезную так же, как по прежним. В позднем дневнике моём найдётся и мой сугубый вздох: “Бесконечно жаль прошедших дней...”

О вечном небе каждую ночь возвещала луна. Двадцать пять лет висела она над нашим огородом, над лиманом и таинственной плоской горою Бориса и Глеба, к рассвету утекала от Ахтанизовской и порою утром бледно, как-то ненужно задерживалась на западе. Она так светила с вечера и тысячи лет назад (о, Господи, тут же над этой же земной пядью, на этот же наш двор, не существовавший тогда!) и при греках, хазарах, при турках и первых запорожцах в Тамани, и молочно мерцала через окошко в комнатку, где матушка больше года смиренно лежала в страдании, и в последнюю её ночь, и после её похорон в Тамани, и на девять дней, и на сорок, и на полгода, год. И нынче, через пятнадцать лет, когда я весь вечер сижу один-одинёшенек, зародился над трубой кухоньки волосяной месяц и будет расти с каждым днём, привечать моё прозябание во дворе до той поры, пока я не уеду.

В Пересыпских трёхтомных дневниках останется много моих записей о Настеньке и её принудительные строчки (ленилась, а я заставлял) о собачках и кошечках и первых подружках. С четырёх лет возил я её к бабушке Тане, в Тамань, ещё дальше в посёлок Волна, где жила семья осетин, там с плотного песчаного (мучной белизны) берега Чёрного моря радостно было глядеть в сторону станицы Благовещенской, Витязево и Анапы. Мне хотелось, чтобы она запомнила всё, полюбила Пересыпь, и в романе о Екатерине-однаре я пожелал ей в последней главе, написанной на кухоньке, слушаться моих заветов. Теперь она в Пересыпи бывает чаще меня.

А вот 31 января 1978 года. Писал я кому-то (забыл) и не отправил.

“Проснулся в 4 часа утра, сижу у своей конторки и разбираю материалы по Екатеринодару. Проснулся, и впервые стало грустно от мысли, что я не печатался целых пять лет! До этого я как-то спокойно относился к своему молчанию. Погрузился в казачью старицу и забыл себя. Вышел во двор, закурил, матушка спит. Я говорил ей осенью: “Вот выпущу книгу, дам тебе денег на огород, чтобы ты успокоилась, не упрячилась (как огород забросить, он зарастёт), поменьше сажала и не надрывалась”. Это меня и сейчас занимает. А роман “Когда же мы встретимся?”, дай Бог, скоро выйдет и будет, надеюсь, читаться так же легко добрыми душами, как и “Тоска-кручина”. В нём сквозит судьба. На все несовершенства, скороговорки, пустоты есть секретные, чисто житейские причины. Одну третью часть я мог бы при желании раздуть до двадцати листов — так несло меня. Но нельзя. А если “Наш современник” отвернётся, то я окажусь в положении старухи в главе “Кому теперь меня жалко?”. И так же, как ей, мне объясняют: малограмотно. Но мне стыдиться нечего: в журналах много серого, убогого. Сорок один год я прожил без всякого лукавства, и ещё есть силы, чтобы стоять на своём. В душу всё более теснится кротость: я чувствую её особенно в те минуты, когда нахожусь на улице среди людей. Всё чаще хочется молчать. Ты не стыдись за меня в окружении москвичей, затвердивших о литературе шаблонное мнение. Подождем. “Наш маленький Париж” зреет...

Со временем, после потерь и невозвратных милостей жизни, всё-всё (даже когда-то скучное и грустное) оживает в памяти как редкий дар, счастье, неповторимые текучие дни, а главное — как ещё целебный возраст, сила, соки земные.

Вот в октябре того же года проснулся я, ходил по двору и думал о Шолохове, видел дом его, всю станицу Вёшенскую, достал с полки “Тихий Дон”, развернул наугад и стал читать: “За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно: беспросветной тёмной ночью очнулся от резкого, пронизывающего насквозь холода”.

“Приезжайте ко мне в любое время года, приезжайте, — звал во Псков Борис Скобелев, — мне уже шестьдесят четыре и, если не сочтены дни (на что я очень надеюсь), то малые годы наверняка”. Он умер на четыре года раньше моей матушки.

“М. А. Шолохову вручили в станице Вёшенской вторую золотую медаль” (1980 год).

Настенька выйдет однажды к морю и вздохнёт: “Скорей бы мне было семнадцать лет...”

Писал, помню, главу “Конь без хвоста”, а мои любимые бразильцы засобачили шотландцам четыре гола (Зико, Фолькао, Оскар, Эдер). В Севилью прибыл сам Пеле. Сократес гениален. Трусцей направился к мячу, но тут же, без разбега, ударил по мячу Зико, подрезал, и мяч в углу! “Так умеют забивать только бразильцы”. Я соскочил по ступенькам в подвал за вином. Писать о Костогрызе перед памятником Александру III в Петербурге уже не смог.

“Сентябрь, вечер, одинокие чайки, держится тепло, солнце ещё часа два не спустится на крымские горы. Пусто, только две городские парочки загуляли вволю. Откуда приехали? от каких суженых сбежали? Накупались, выпили и, похоже, не торопятся сворачивать вещи, ждут затемнения. Одна, чёрненькая, кажется, так и утешается тем, какой долгий закат, какое море с медузами и такой йодистый воздух, и сколько милых ракушек, и какой золотистый песок! Никто в городе не будет знать, где и с кем она побывала... Чайки не выдадут. Я с паузами втыкаю палку в песок, нарочно гляжу вдаль, но чувствую, какой я сей счастливо-грешной компании лишний, даже противный житель посёлка. А я весь день жалел в рукописи Калерию Шкурпатскую, доживавшую в екатеринодарском дворе”.

“Ехал из Москвы до Феодосии, оттуда в Коктебель. Олег Николаевич пишет биографию Ермолова, гуляли и говорили про “Кавказский крест” России, вспоминали Бяратинского, Воронцова, Дибича, Паскевича-Эриванского, всех этих безродно забытых властью и “передовым обществом” героев Отечества. Я жалею, проморгал историю Кавказской войны и весь этот чудный горный край. Только через четыре дня вернулся в Пересыпь. Тёмный вечер, туман. Опять в кухоньке присел за стол и в амбарной книге влился в компанию Понсуйшапки, Толстопята, Бурсака и даже сказал им: “Ну что, господа казаки: соскучились без писаря Лихоносова? Подсказывайте, как дальше будем жить. Куда с государем поедем на трёхсотлетние торжества? Берите меня за руку, знакомьте с царскими дочками. Ведь Зборовский, Шведов и Шкуропатский — любимцы государыни. Налью скоренько матушкиного вина из погреба, побалакаем. Я соскучился в Москве”.

Плакать хочется. Ничего такого больше не будет: ни той амбарной книги, ни вина, ни великих казачьих призраков...

Ещё не буду знать, что в этом дворе огорчит меня весть о смерти Юрия Казакова, моего наставника и друга, срочно вырвусь в Москву хоронить его на Ваганьковском кладбище, а через пять лет напишу в золотую осень воспоминания о нём — “Волшебные дни”. Принесут сюда же “Литературку” с траурным поминовением Фёдора Абрамова. В тяжёлую пору нищенской “ельцинской эпохи” буду я растапливать к вечеру печку и разговорно отвечать в Петербург Глебу Горышину на его строчки “пожили, пора отлетать”. Приедет с кинофестиваля из Анапы с моим другом Назаровым, посидит под орехом народная артистка, казачка Людмила Зайцева, постоит у постели матери, скажет что-то грустное про свою старенькую матушку. К 1000-летию Крещения Руси подарят мне пластинку с песнопениями и службой патриарха Пимена, и прочитаю я в “Житии княгини Ольги”: “И тот крест и доньне стоит в святой Софии во алтари на десной стороне имея письма”. Не предчувствовал я ещё, что удосужусь помолчать в том великом храме в Константинополе и привезу матери крестик, опускавшийся мною к святому полу.

“...Маме десять лет, устраивала поминки, звала тридцать человек; если нас так помянут, то хорошо бы, мама не должна на нас обижаться, отпели в церкви в тот же день и приглашала с церкви старушек, и они пели перед обедом. Жалко, ты далеко. поплакали бы вместе. Галя”.

Запомнится и будет щемить сердце позднее, как изливал я на кухоньке свои восторги Эпидавром и греческими островами Порос и Эгина, теребил три тома Плутарха. А матушка резко открывает дверь и кричит: “Витя, по телевизору Громыко высказывается! Не хочешь послушать? — Я сейчас в древней Элладе, мам. С Алкивиадом наступаю”. Что ещё? “Всего не опишешь...” — вздыхал в Коктебеле мой дружок Олег Николаевич, прикрывая ладонью рукопись романа “Час разлуки”.

За что-то же Господь даровал мне это местечко, пожалел нас с матерью, приблизил после разлуки, оберегал до конца. Ещё не раз промольвлю о чудесных дарах и удивлюсь. В Сибири могло забросить меня куда-нибудь к болотам Васюганья, в деревню под Северное или в Верх-Ирмень, к месту битвы Ермака с ханом Кучумом или же в село Заковряжино, прославленное как-то “Литературной газетой”, да мало ли ещё в какую пропащую даль, и я бы там от душевной своей слабости не осмелился связать двух слов, только читал бы московские журналы и корил себя отсталостью, и никто не заезжал бы ко мне из школьных друзей. Но Господь отлучил меня от суровых углов, выбрал тропу полегче, помягче, по моей натуре. И указал мне хату с краю улицы, недалеко от берега. Я и не ждал такого благоволения. За Анапой недалёкая стёжка по морю к Царьграду, где Айя-София, под боком — гора святых Бориса и Глеба, за Сенной — Тамань (Тмутаракань) со святым преданием о преподобном Никоне-летописце, в Крыму —

Херсонес, а на берегу Азовского моря, что называется, через дорогу, монахи Савво-Сторожевского монастыря поставили храм святой Троицы, такой же, как в те же годы на конце моей улицы Озёрной возвели сибиряки.

Везде — после припадания к Гробу Господню в Иерусалиме, стояния в Айя-Софии, в монашеской книжной лавочке в Афинах, на Байкале, в деревнях Остяцк и Ургуль возле болот и тайги, в Белёве ли, в станице Вёшенской или Зеленчукской у черкесских вершин, в Петербурге, в Тригорском, в Ясной Поляне, в беловской деревне Тимонихе, в Ельце, в деревне Колонтаевке счастливой наградой мерцало во мне слово “Пересыпь”.

У ГОРЫ КАРАДАГ

Уж чересчур скоро скрылись в камыши и воды двадцать пять наших годочков. Ещё потянулись бы на наше счастье вдоль берега, над садом, над тою же горою под Ахтанизовской, ещё кротко посветила бы нам обоим ущербная и полная луна над белой трубой, и ночью, взглянув на Большую Медведицу, возвращался бы я в хату, где в своей светёлке спит мать. И... и ещё не раз уезжал бы я тихим утречком из Пересыпи в Коктебель, в тот самый, который помог мне случайно выбрать Пересыпь.

Ах, Коктебель, Коктебель... Не видать бы мне Лягушачьей бухты и горы Карадаг, если бы не допустили меня боги плести слова. Впервые ехал я в волошинскую мекку из Краснодара на поезде Баку—Симферополь, через пролив тащил нас паром, Керчь как-то не помню, а в Феодосии мы с Ольгой снарядили такси. Крым, горы, таинственное море за ними, легенды струили в воздухе счастье, которое досталось другим надолго, а нам нынче на одно мгновение.

Но как отрадно душе! Ты словно по-барски отделился от тех, кто живёт на востоке, в Сибири, на Севере. Мне было уже тридцать два года, я мало где побывал, а уж о литературных заказниках нечего было и мечтать. Три года назад я прибито ходил в доме-музее Чехова в Алушке. Там, в его кабинете на втором этаже, я с удовольствием утаил бы, что я... гм... тоже... писатель.

Помню свою робость в Коктебеле в приёмной директора Дома творчества, когда дежурная записывала мою фамилию из путёвки и выдавала ключ в особнячок № 18. Впереди меня оформлялся громкий Пермьяк, а чуть в сторонке ожидал ключа совсем не застенчивый Долматовский. Из газет и журналов, которые я покупал в провинции, они слетели сюда точно с небес. Моё прибытие в табор писателей ощущалось мною вроде бы неуместным, и по аллее нёс я портфель с желанием, чтобы меня никто не заметил. Москвичи заявлялись в своё, не известно с каких пор обжитое поместье. В столовой им отводили любимое привычное местечко (не всем, конечно), Каплер и Друнина всегда питались в зелёной веранде, кто-то непременно у окна, кто-то там, где не дуло, некоторые выбирали сотрапезников только из своего круга, провинциалы чаще всего устраивались как придётся. Было даже завидно, как почтительно узнают завсегдатаев официантки, уборщицы, хранитель из дома Волошина. Некоторых ждали с весны. А ты ещё какой-то неважный деревенский постоялец, случайный чужой заезжий, без роду без племени, к которому привыкнут нескоро, а может, и никогда.

В бойкой дружеской компании москвичи, легко кого-нибудь цитируя, ко-го-то великого вспоминая, казались ещё талантливее, чем в журналах и книгах. И когда они на прогулке, у почтового ли ящика у входа в столовую или где-то ещё начинали с тобой вдруг здороваться, то такой бывший учитель из анапского совхоза, как я, изумлённо себя спрашивал: “Неужели Люся Каплер и Юлия Друнина читали мои рассказы в “Новом мире”?!” Я и сам, заглядывая в номере журнала на страницу с моей фамилией, удивлялся: да разве это я? И было это в тот год, когда я получал ласковые письма от Бориса Зайцева и Георгия Адамовича из Парижа. Спасибо Господу за то, что даровал многим из нас сельскую наивность, и даже спасибо тем уверенным москвичам, на которых мы поначалу смотрели снизу вверх. Душе всё было на пользу. И спасибо тайному повелению за эти внезапные минуты, когда я

пылко вытеснил из нынешнего житейского сора старый упоительный Коктебель и расчувствовался безумно, после двадцати строк раскупорил бутылку крымского вина и кинулся искать путеводные книжечки о Коктебеле (Планерском) и Судаке, которые я покупал (каждый раз новые) уже в Феодосии. Цежу вино, вспоминаю всех-всех пришельцев к мифическому профилю Волошина, лью прощальные слёзы, потому что ничего такого, что мы там беспечно переживали, нам больше не придётся испытать.

Через Пересышь в Коктебель и назад проезжал два раза в год тихий поэт Николай Краснов. В Краснодаре я выделял его, такого же некоренного жителя, как я сам. Мы при встрече вспоминали что-нибудь своё, потаённо-одинокое: я сибирское, а он волжское (родился Коля рядом с деревней пушкинского приятеля Языкова). Заметно было, что он во всём не кубанский, тоскует по русской деревне, часто уезжал то к детскому порогу, то в белгородскую глушь, где жили сёстры жены Шуры. Там он подолгу гулял в поле, в лесу и складывал строчки в уме, возвращался с готовым стихотворением. На фронте ему покалечило правую руку, писать ею было неловко. В тоске я часто спасался у Николая Степановича в офицерском доме, поставленном после войны напротив студенческого общежития, в котором я дневал и ночевал пять лет. После ельцинского переворота мы с ним уже не гуляли в Коктебеле по набережной. Тяжёлые вести приносила оттуда молва.

Как-то я застал на его столе толстенький том “Воспоминаний о Максимилиане Волошине”.

— У-у, аж семьсот страниц. Дай на денёк-два почитать.

— Листай при мне. Ты любишь долго держать, а то и не отдавать. А мне дак “Записки Смирновой-Россет” зажал, наслаждался сам, про имени Языкова журнал замотал, про Фитцджеральда держишь года два, “Дневники” Алексея Вульфа царского издания припрятал, письма отца Нащокина, говоришь, вернул, а я их в своём шкафу не вижу, ну, и “Окаянные дни” Бунина твоего тоже затерялись, “Мою жизнь дома и в Ясной Поляне” я от тебя спрятал, — любезно, с улыбкой перечислял поэт мои воровские грехи, не укорял, не бранил, а разыгрывал сцену бурчания какого-то книголюба, каким он и был.

— Признаю с покаянием, — подражал я его манере, — сознаюсь, что я книжная шашель и порядочный воришка, но вашей честности стыжусь и всё в конце концов возвращаю. Воровал ли я у друзей и знакомых в Москве? Приходи, я раскрою шкафы, переберём и, если хоть парочку чужих сокровищ замечу, сам сниму и с колен тебе преподнесу.

— Иногда воровство редкой книги у кого-нибудь пустого — благородное дело, — поддавался моей игре Николай Степанович. — Но я всегда проявлял воспитанность и потом порою жалел, что не положил остороженько в портфель.

— Волошина бы я не украл, а что-нибудь вкусное про Коктебель... — тут не ручаюсь.

— Мы всё-таки советские. Вот эти лица, заполнившие книгу воспоминаний о Волошине, не позволили бы и пошутить на эту тему. Они другие. Мы никак не поймём, что царская Россия — напрасно потерянный мир. Коктебель... Из-за этого проклятого переворота как туда ехать? Киевская Русь — другая страна. Я через Керченский пролив не могу перебраться с прежней лёгкостью. — Николай Степанович раскрыл книгу на 475-й странице.

— Послушай. “Сразу за Феодосией начиналась холмистая степь, покрытая ковылём, полынью и маком”.

— Эта дорога нам знакома. Через Виноградное, какое-то тихое и грустное, словно оттого, что у него отобрали родное татарское название Курубаш, ездил я и с Ольгой, и один. Вот Ельцин в самом деле украл у нас редкую книгу: Коктебель. Хохлы там хозяйничают, всё дорого, через пролив поезд Баку-Симферополь паромы не перевозят, катера из порта Кавказ и Тамани проданы, всё как-то осквернено и проклято. А я помню, как ты весной и осенью собирался с Шурой, всё как-то трепетно и жадно леделял завтрашнюю поездку. И всегда потом писал мне на открытке (с изображением Сюрю-Кая, Карадага, Гурзуфа), что “проезжал твою Пересышь”.

— Счастливые дни. А где же твой восторг? Стихи про Коктебель где? — строго, но по-прежнему играя, спрашивал я.

— Я там не писал стихов, только восхищался. Никогда не мог писать там, где побывало столько великих имён.

— Это в тебе крестьянская застенчивость. Приниженность. Это даже хорошо.

— Но есть что-то. Немножко.

— Что-то! Зря тебе там повариха, с которой вы дружили, добавку приносила. Что-то! Рос в симбирской деревушке, возле имения Языкова, по той колесе, где Пушкин проезжал, хаживал, а поэзией не надышался.

Оба смеялись, ещё некоторое время дразнили друг друга шутками, Шура ставила кружки с компотом, тарелку с пирожками, я уже забросил том о Волошине в портфель, и какую-то щемящую волною стали прибиваться к душе воспоминания о берегу с драгоценными камушками. Николай Степанович тоже удалился к золотым коктебельским дням.

— В первый раз я был тише воды, ниже травы, — сказал он.

— Да уж куда тебе тише-то? Ты тихий-тихий. Робко-тихий. Я с тебя писал монашка в романе о Екатеринодаре. Ты обычно стоишь сбоку и слушаешь. Тебя как будто и нет. Я и не могу представить, что потом ты в Коктебеле стал громкий.

— Но всё-таки я перестал стесняться, что пишу стихи, после того как приставший ко мне на набережной (видно, никому не был нужен и скучал) дряхленький старичок убедил меня, что Коктебель собирает самых немислимых типов, и никто никому и ничему не удивляется. “Вы, я вижу, одиноки, я тоже, давайте проведём сезон вместе, мне будет что вам рассказать, поэт из Караганды, но глубоко русский, пишу романы в стиле Вертинского, Морфесси и Михаила Вавича”. На третьей минуте он уже раскрывал секрет, как в одна тысяча девятьсот тридцатом году видел здесь на берегу голого Алексея Толстого. Тогда Коктебель был пустой, купались нагишом.

— А я... Я приехал, устроился в дощатом домике у забора, где обычно размещали обслугу Союза писателей и прочих неглавных дам из писательской поликлиники, каких-нибудь парикмахерш, секретарш. И Ольга моя потянула на восток собирать камешки: халцедон, опал, сердолик, яшму. За пять-семь лет все камни выбрали москвичи! Я как-то быстро натолкал свои карманы. И ходил вдоль воды, наклонялся, что-нибудь выбирал, крутил в пальцах и сбрасывал благообразный, в белой круглой шапочке Мануйлов, лермонтовед. А я то и дело ездил в Тамань, писал как раз “Осень в Тамани” и, видно, произнёс Ольге что-то вроде: “В Тамани камушков нет” — или похожее. “А вы из Тамани?” — спрашивает профессор и подступает поближе. Так познакомились и разговорились Он, конечно, не читал меня, но фамилию мою знал, потому что переписывался с тем же белым офицером в Париже, что и я. И, как нарочно, через день услышал мою фамилию “твой, — как ты говоришь, — Олег Николаевич”. И тоже подошёл. Мы мгновенно сблизились. Вот как всё чудесно. Таинственная Россия украсила мне июль в Коктебеле.

— Мне, Витя, деревенскому, в первое время всё вокруг таилось загадкой. Сюрю-Кая, Святая, Хоба-Тепе, Тапрак-Кая, Еким-Чек, Кучук-Енишары ещё были для меня безымянные, звали к себе молчанием. А москвичи уже всё знают, они тут давно свои. И дальние гости (из Средней Азии, с Алтая, Сибири, даже с Камчатки) казались иностранцами. Такая огромная была у нас страна!

Шура в мгновение нашего грустного сожаления (что всё кончилось) тихонько появлялась с подносом, медленно протягивала к столу бутылочку вина, через минутку добавляла тарелочки с закуской и понимающе оставляла нас утешаться своими вечными литературными разговорами.

— Я ведь как туда ездил... — говорил Николай Степанович. — Я не знаменитый, как ты, меня москвичи не ждут, как тебя, у ворот с вином да с пирожками. Не прославляют меня во хмелю, не зовут посидеть сбоку на теннисной площадке. К ларькам на набережной я подхожу выпить только томатного сока, к аппетитным шахтёркам не приглядываюсь. На майские

праздники никакие московские шалавы ко мне не приедут, в Феодосию в ресторан я не помчусь, ну, и все прочие лёгкие удовольствия мне не нужны. Мы с Шурой заносим чемоданчик, идём в столовую здороваться с нашей поварихой, а потом я скорее всего спрашиваю, выдаёт ли в библиотеке свежие журналы Анна Ивановна. Кроткая, приветливая.

— Я помолчу, хоть вёл себя ещё скромнее. И Анну Ивановну тоже поджидал. В первый приезд я брал у неё тома историка Костомарова, царского издания. Вообще первый день, особенно апрельский, после зимы (ещё деревья голые, только пудино дерево озаряется тоненькими красными точками) запоминается душевней. Никого нет, в столовой человек десять, шахтёры прибывают в начале мая (им позволялся один поток), Карадаг с профилем Волошина манит, и ты пойдёшь по кромке в Лягушачью бухту, под самую скалу, волны бьются, одиночество великое, порою боязно чего-то, и так покорно чувствуешь себя, благодаришь за счастье присутствовать в Коктебеле, о котором где-то когда-то в студенческие годы читал не то у Паустовского, не то ещё у кого-то знаменитого, и не мечтал, что однажды увидишь это и вернёшься к белой столовой, пойдёшь на восток, в сторону горы с могилой Волошина; волны стегают берег, тащат гальку, тут тоже ещё никого, наутро вдруг прибывают какие-то знакомые тени, но не близкие тебе, ждёшь своего, обнимаешь, как родного. — Николай Степанович благословлял моё чувство тонкой улыбкой. — А я ходил мимо дома Волошина и всё хотел подняться к Марии Степановне, полвека жившей без Макса. Она часто отдыхала на высоком балконе, и кто-нибудь из москвичей (ну, там критики, составители академических томов) кивали ей снизу, а кое-кто бывал у неё как желанный, и я безбидно считал себя недостойным. Но я — ты же меня дразнишь “любопытной Варварой” — как-то напросился, и твой дружок, златоуст Олег Николаевич, запросто потащил меня к ней. Он бойко поболтал, хлёстко отчитал Мережковского, посмеялся над Брюсовым и ушёл. А меня Мария Степановна ласково терпела часа два. Я беседовал с ней по-деревенски: спрашивал о том, о чём москвичи спросить бы не вздумали: они ведь всё знали! Про всех, кто тут бывал, расспросил. Я же родился в деревне, мне и сейчас кажется, что я не знаю столько, сколько городские. Их ничто не удивляет. И в Литинституте то, что другим было скучно, надоело, чему они не только не удивлялись, но с издёвкой брали, я хватал, часто восторгался. Олег Николаевич поражался, зачем я хвостом хожу за Анастасией Цветаевой, камешки с ней собираю да тоже спрашиваю, пристаю: а этот? а тот? Ей девяносто лет. А некоторые поздние дамы и господа-товарищи этак мило и скрытно вздыхали по прошлому, советскую власть не любили, на Марию Степановну глядели, как на реликвию. Только оттого, что она было женой Макса Волошина. Вечерами прогуливались, обсуждали политические нюансы, поминали высланного Солженицына. А теперь уж там никто... Белогвардеец, пушкинист Раевский не поговорит о Дарье Фикельмон. Бабореко не поделится письмом из Парижа от друзей Бунина. Марья Степановна умерла. Да многих уже нет. Поздняя тютчевская родня не помолчит у белой балюстрады. И Люся, жена моего друга из Утятки, не прочтает целый пучок стихов Боратынского, Фета, Рубцова. Набокова. Думаю, что и вкусный томатный сок уже не продают в ларьке...

— И вижу, — сказал Николай Степанович печально, — как там зимой пусто, и профиль Волошина на Карадаге освящают его же стихи. “Его полын хмельна моей тоской, мой стих поёт в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой”.

Я выдёргивал из портфеля толстый том, раскрывал наугад.

— Вот одна балерина писала: “В Коктебель я приехала впервые 19 апреля 1926 года. Был холодный пасмурный день. На море бушевал шторм. Возница остановил лошадей на проезжей дороге”. Возница! От Феодосии на телеге, в коляске. Как хорошо, первобытно. Держалось на земле ещё медленное время. “Дом Волошина”, — сказал он, взмахнув кнутом в направлении моря. Кругом было полное безлюдье”.

— Да и я, когда начинал ездить, застал Коктебель тихий, малоподный, это потом раскусили его прелести и повалили туристы с рюкзаками да учёные, а я и балерину эту видел, старушку, меня с ней знакомили.

— На странице 567. Слушай Коля, тебе понравится. “Море в Коктебеле простое и древнее, как Гомер”. Здорово, правда? Хотя... тоже декаданс. Сказано ради литературы. Я удаляюсь, Николай Степанович, в свой чулан с книгами, прилягу помусолить воспоминания о Максимилиане Волошине, которого ты любишь (а я так себе), и уж этот декадентский том не заматаю, а упру как-нибудь дорожные записки Якушкина, там Псковщина, Изборск, чудные крестьянские разговоры. Не терзай меня молчанием.

— Посиди, — говорил поэт. — Не всё ещё сказал о Коктебеле.

— Если бы Шура налила ещё, я взглянул бы на Коктебель глазами тех, кто писательскую жемчужину посетить не может. Но если бы Гоголь по путёвке Литфонда спустился вниз, съезжал у белой балюстрады, подождал, когда станут выходить из столовой сытые волшебники слова, то сразу бы узнал и болтающего Ноздрёва, и деликатного Чичикова, и Собакевича, наступающего на ногу редактора издательства “Художественная литература”, и Плюшкина, прибравшего со стола бутылочку ряженки, и ещё кое-кого из своей поэмы и пьесы “Ревизор”. Всего за один день наблюдательный Гоголь натаскал бы ярких персонажей в ненаписанный 3-й том и кое-кого из ненужных переправил бы ко мне, сирому и убогому члену Союза писателей. Думаю, легко разместился бы в 3-м томе Евтушенко. Душный чуланчик отвели бы мы с Николаем Васильевичем и какому-нибудь драматургу. Я бы и раз, и два описал всё тот же очаровательный день заезда. К вечеру с ужина вышел из двери столовой почти приятель Гоголя, насмешник и автор весёлого представления “Вот идёт пароход”, детина росточку под крышу купеческого дома, не один, а с выводком (три дойные дочки, зять из “Комсомолки”, ну, и счастливая жена). С Коктебеля драматург только начинает укреплять здоровье, попорченное зимой выпивками и закусками в Доме кино, у литераторов на улице Герцена, у журналистов, актёров, живёт, наблюдая за скалистым профилем Волошина, два срока, после, не заглядывая в Москву, перебирается в абхазскую Пицунду, оттуда через месяц на пароходе в Ялту в Дом творчества на горке, по следам “дамы с собачкой”. Ещё попозже поездом из Симферополя ненадолго в Москву, а там уж поспевают почти заграничная радость — грузиться на Рижском вокзале в Дубулты, на балтийский бережок, поближе к западному стилю, туда, где всё посвободнее, чем в Московии; к похолоданию лучше обосноваться в Переделкино (чтобы не тратить время на домашнюю кухню и на магазины), а когда крепко уляжется снег, подбегать в Голицыно, где любят на малой земле отдыхать гениальные наши переводчицы (Рита Райт и другие), ну, и через отмеренный срок положено проведать Малеевку (она рядышком) да в завершение приткнуться уже без жены в любимом доме отдыха артистов Малого театра под Рузой (в Болшеве) и оттуда, чтобы уже отдохнуть на все сто, пожить народной жизнью в Карабихе (у покойного Некрасова), да заодно, до очередного Коктебеля, после передышки в Москве, спектаклей, гонораров, застолий в тех же Домах (актёров, писателей, журналистов) просеменить ещё в Щельково (к покойному Островскому). Так проходит тяжёлая жизнь сатирика.

Я театрально вставал, кружился, по-актёрски кланялся и выкидывал руку к Николаю Степановичу.

— Откуда в тебе это желание поиграть? — В Коктебеле мы с Олегом частенько разыгрывали сцены. И когда вспоминаю что-нибудь, как было весело, как сочно копировали писателей, хочется прослезиться: это кануло навсегда вместе с тем Коктебелем, меккой людей искусства, а не всякого туристического сброда. Я всё-таки удаляюсь, я кланяюсь вам, тонкий лирик, уношу в этом томе Сюрю-Кая, Карадаг, Лягушачью бухту.

Друг мой зауральский из деревни Утятка, отвлекись от рыбалки на Акулинкином озере, повернись в прошлое, побудь с минутку чутким, вспомни вместе со мной, как в ту осень, когда мать моя Татьяна Андреевна появилась в Пересыпи, ты, переночевав на полу в хате, ещё занятой прежней хозяйкой, выбрался на заре в путь к переправе, жадно поспешил в Коктебель.

Через неделю, переписав хату на отчима, в том же раннем часу повлёкся я вслед за тобой. Перед этим я перечитал августовское письмо Олега

Николаевича, с которым ты уже разгуливал по набережной. Я его храню в моей пересыпской тетради.

“...Из дальних странствий воротясь...” Или так: как быстро утомил меня Кавказ. В последний раз я едва мог слышать клёкот гортанный уже лишённых кинжалов аварцев и даргинцев. Но как тяжело было солдатам Ермолова и Бярятинского! Я в Москве... “Державин” мой ещё не завершился. Возьму листы и в Коктебель. Вчера выступал в штабе Варшавского блока вместе с героем шолоховской “Судьбы человека”, ныне заведующим кадрами ВВС, генерал-полковником, который в плену принял имя то, которое Шолохов дал герою. Рассказывал потом за рюмкой, как ему писали, что не может быть того, чтобы голодный и измождённый пленник выпил три стакана водки и не свалился. В одном совхозе даже сделали эксперимент: воссоздали условия (не ели долго и выпили сию норму: директор, главбух и главный инженер — все свалились. Он решил им ответить: “Вы никогда не можете воссоздать тех условий, в которых был я. Под дулом пистолета хмель действует совершенно по-другому”. Красавец. Его любимое — поговорка Суворова перед атакой: “Впереди Бог, я за ним, не отставай!” Целовались на прощанье. Думаю о Коктебеле. Мечтаю. Надеюсь, что и ты всё-таки приедешь. Целую и жду встречу в павильоне — за шахматами с Семёновым и Мыколой Шереметом. Ведь всё держится только традицией. — О. М”. Звал он меня к себе всегда, я тянулся к нему, любил его слушать, первое время побаивался его громкости, умения плести речь сочно, то растягивая слова в мудрой задумчивости, то ударно вскрикивая. Как мне нужен был тихий Николай Степанович, так Олегу Николаевичу такой преданный слушатель, как я. Да и ты, такой же покорный поклонник блестящих московских умниц в литературной среде. Вот к вам я и поскакал пообщаться. С переездом ли матери это связано или ещё что-то закралось вешнее, но забыть ту осеннюю прогулку не смогу... Всё было так просто и буднично, но каждое мгновение дорого.

Сам отъезд в Коктебель из Пересыпи был счастьем, и теперь каждое мгновение тербит мою старую душу невозвратностью.

В пятом часу матушка разбудила меня, успела поджарить картошку, отчим ещё спал, я вышел к белому клубу с колоннами поджидать автобус “Темрюк — порт Кавказ”. Ночная темнота уже раздвигалась, первый свет очищал углы и просторы, две-три колхозные машины вылезли из гаража, направились в Ахтанизовскую, незнакомые мне пересыпцы подступали к стоянке, тоже ловили на мосту через гирло двуглазое дрожание автобусных фар. Наконец, длинная туша его вырвалась на дорогу, все зашевелились и сняли с земли свои сумки и портфели. Народу в Темрюке набилось порядочно, все тоже проснулись рано, женщины успели подвести глаза, губки, пахнут духами, каждая таит в себе свою историю, в дороге кажется вечно недоступной и даже вредной. Теснимся, подбираем пассажиров в Ахтанизовской, я острее, чем всегда, живу текучими впечатлениями. Вот протянулись линией белёные хаты, кое-где во дворах беспокоятся женские фигурки, станичное правление ещё мёртвое, магазины на замках, за окошками дремлет и стар, и млад, а мы, жаждущие Крыма, миновали гору Блювака, затем слева гору Бориса и Глеба, повернули от хутора Солёного на Сенную, проскочили указатель на Тамань и понеслись сбоку станиц Фонталовской, Запорожской к косе Чушке. Матушка уже досыпать не приляжет, проведает с чашечкой зерна курочек в сарайчике (хозяйка оставила), выберет в соломе яички, сядет, может, писать сестре в Топки. “Во первых строках сообщаю тебе, что Витя мой поехал нынче в Крым к писателям, а я попрошу тебе, как мы устроились...” Узенькая коса Чушка, маленький порт, катер “Пион” (как родной) качается у причала, ранняя касса открыта, я протягиваю 75 копеек, спускаюсь по сходимям, занимаю местечко на корме. (Как это теперь щемит счастьем.) Тонкая приятная струйка сквозит в душе: я еду в Крым, через час будет Керчь, кафе у пристани, манная кашка с кружком масла, кофе, недалёкая тропа к автостанции, дорога к Феодосии мимо станции Семь колодезей, всё ближе и ближе мои друзья в Коктебеле.

Солнышко уже оросило нежным светом пролив. Справа за мысом — Еникале, а нам бороздить вдоль длинного берега. Нет-нет, да и повернусь я к югу, поищу вдаль у горизонта Тамань. Там тоже проснулись мои сибирские друзья Вера и Володя. Там уже начали строить хату Царицыхи... Пишу сейчас и говорю тебе в далёкую Утятку: человеку не дано превосходить будущую утрату, и он во всей полноте не ценит миг отпущенной ему радости.

Только на бумаге и могу прочертить прежнюю дорогу в Коктебель, пережить всё уже со скорбью.

В Феодосии, по осени безлюдной и почти сельской, ко мне выбегает шофёр такси, называет сумму, услужливо кладёт мои тяжести в багажник, трогается, оживляет путешествие разговором. Я как-то весь притягиваюсь к встрече с тобой и Олегом Николаевичем.

Часто стою с вами перед ужином у ларёчка за домом Волошина, угощаю по случаю моего новоселья в твоей комнате хересом (“вином космонавтов”) и слышу взбодрившийся голос Олега Николаевича: “А я, мой милый, уже набарабанил половину “Державина” и готовлюсь к Бородинской битве под началом Кутузова, а засим, дай Боже, двинусь с Ермоловым на Кавказ”. В другой раз у дальнего ларёчка мы пили тот же херес и передразнивали наших партнёров по карточной полуночной игре, благо их не было рядом. Смеялись над тем, кто “упорно работал над собой”, бегал на заре на гору с могилой Волошина, час плавал, разминался чтением словаря и стучал на машинке до обеда.

— А хрестоматия моей жизни в Коктебеле, — доложил Олег Николаевич, — составлялась из трёх частей. Первая. Я невинно просыпаюсь и бегу заряжать пушку: вставлять лист в пишущую машинку. Ночью я порой не сплю, вскакиваю и ищю выключатель, мне надо поскорей записать строчку-две, потому что утром я уже не вспомню что-то сверкнувшее и ценное, а если и вспомню, то уже того порядка слов, той музыки не поймаю. Вчера отмечали день рождения Мьколы Спиридоновича Шеремета. Поэт он “из рабочих и крестьян”, но сам очень милый чудесный хохол, живёт в Киеве и меня любит, и я его люблю, и в честь его светлого дня рождения я обычно крепко напиваюсь и уже ничего не помню. Говорят, что выразительно пою “От края до края” и “Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин”. Не помню. Зато припоминаю, как я напугал Мьколу и его Веру, тоже хохлушку (москалей недолюбливает), напугал их, когда закричал на весь третий корпус, где в основном селятся ёные, закричал, что нужны танки, чтобы вычистить всю сволочь! Кого я имел в виду под сволочью, я не распространялся, но из предыдущего разговора было ясно... Таких речей было столько, что все скрытые жучки в углах и в абажурах ко мне привыкли и не записывали. И в ЦК знали. Утром хмурый выхожу в столовую, не люблю, если мне напоят, каким я был вчера. Выхожу к столовой, ба! — приехал Святолав Балза. Красавец с длинными ногами. Рассказывает “анекдот от патриарха”. Он со всеми хорош. Он с государем смог бы приятно поговорить на балу и понравиться. Думаю, и государыня кивнула бы ему головкой. Анекдоты я забываю тотчас, что-то с Суворовым связано, переходил в Швейцарии Чортов мост и... ладно! Разговоры (замечу) со временем, особенно после всяких потерь, сверкают таким особым значением, а ведь мало кто из нас умеет записывать их сочно и просто. Ну вот. Дружно заходим в столовую. Кто-нибудь ещё окликнет, остановит, спросит, как там во Франции — победит Жискара д’Эстэн или дамский угодник Миттеран сорвёт поцелуй граждан? Посмеёмся. Учёный Балашов что-то скажет. Обедаем мы вчетвером, весной обязательно с нами “наш коктебельский Иракий Андроников”, за двадцать четыре дня перекопирует всех (особенно Евтушенку с “косо поднятой головой”). Затем мой близкий друг, мой конвоир, который сгружает в Феодосии целую тележку рукописей из издательств, читает их и в Москве загребаёт за них столько, что можно жить до декабря и скупать на Даниловском рынке весь мочённый чеснок. Рецензии он пишет слогом неповторимым. “Автором проделан большой труд...”, “Писатель сразу берёт быка за рога...”, “Вы Толстого показываете своими словами, как живого человека...” Но мне

с ним легко. Перед обедом мы играем в теннис (иногда к нам добавляется Евтушенко); редактор из “Молодой гвардии”, робкий, всегда молчит, слушает и улыбается, мы всех нежно осуждает, а Белова, Распутина, Витеньку Лихоносова любит, читает пудами, с книгой и в столовой сидит, написал биографию Лескова. Да! Присаживается осчастливить нас после компота переводчик Нушича, благородный нарцисс, высокий, с тонкими усиками, проигрывать в кинга и бегать за новосветским шампанским (всё-таки шесть рублей) не любит, нет-нет да и шепнёт кому-нибудь, что он из нижегородских дворян, протопоп Аввакум родом из деревни, что неподалёку от их имения, и там легко далось начало биографии Аввакума для серии ЖЗЛ, ему же (а не Аввакуму) принадлежит детское признание: “Что поделаешь: как Толстой писать могу, а как Достоевский — нет”. Это только первая часть моего коктейбельского режима. А их даже не три, как я сказал, и не четыре, а больше. Подражая Державину, предадимся Морфею, а наутро, может, сказание моё продолжится. Херес замечательный. У некоторых, правда, он вместе со стронцием выводит и художественные способности. Не страшно: того стоит.

Ещё помню, как он захотел понравиться Раевскому, старому белогвардейцу и милому пушкинисту, всё ходившему с томиком стихов Поля Клоделя, которого он по нашей просьбе иногда читал по-французски. Было такое удовольствие слушать их разговор о белых офицерах, о боях в Крыму, о Врангеле. Но и простенькие речи нас с тобой занимали тоже. Убогие мои старания не передадут всей прелести мгновенного русского согласия старого и молодого, будто давно друг по другу скучавших, чем-то тайно родных.

После ужина мы гуляли далеко, а когда шли назад, ларёчек приманул нас ещё разок, и мы вкусили винца с особым удовольствием. Олег Николаевич тебя полюбил, наверное, за робость, деревенское почтение и вопросы, которыми ты в беседе козыряешь невольно. Ты уже наслушался его за неделю, уже сводил он тебя к Марии Степановне, Коктебель тебя заморозил легендами и Лягушачьей бухтой, и ты что-то царапал перед сном в своей тетрабочке. Олег Николаевич повёл нас к себе в третий корпус, стал громко читать с листа.

— Ах, маменька, маменька, ненаглядная Фёкла Андреевна! Ежели бы ведала ты, что понаделал-понатворил сыночек твой, сержант лейб-гвардии Преображенского полка Гаврило, сын Романов Державин! И наследственное именьице, и кушленную у господ Таптыковых небольшую деревнюшку душ в тридцать — всё как есть заложил, а деньги до трынки просадил в фараон!

Я буду ещё шесть лет коптить героев моего романа о Екатеринодаре, а наш беспечный златоуст настучит клавишами биографии Кутузова, Ермолова, Куприна и легко-легко напишет грустный роман “Час разлуки”, который посвятит мне.

— У меня характер театральный, — говорил он. — И шумный как... у гоголевского Ноздрёва. Да что! Мир меня ещё терпит. А не засядем ли мы нынче за партию в покер? Мой милый? На новосветское шампанское! Симфония! И если бы ты не прятал от человечества свой прерывистый дневничок, не скромничал, то нынче, когда наше коктейбельское царство кончилось, уютно было бы оказать внимание некоторым эпизодам. У меня коктейбельскую жёлтую тетрадку своровали “любители литературы”. Но я почему-то резко запомнил четыре дня, которые я прогулял с вами, вы меня уговаривали задержаться ещё, но я беспокоился о моих родных поселенцах в Пересыпи. Звучала бы нынче горько-щемящая повесть, если бы записывали мы тогда все посиделки и прогулки по набережной. А ты не сочинял ли в те дни рассказ “Воспоминание о Соколе”? Я часто перечитываю сей шедевр. А разве не захочется тебе повспоминать, как на набережной сгущалась в маленькую толпу писательская братия, как к двум-трём подходил кто-то ещё, а потом прибавлялись новые лица, каждый завлекал чем-то своим (анекдотом, шуткой, остроумным злословием или страничкой истории самой литературы, шармом знаменитого писателя, да и далекие покойники — Пушкин, Лермонтов, Державин или Куприн — как-то дружески услаждали встречу чем-нибудь таким; да и в какой-то миг государи, великие князья, фрейлины или генералы по-свойски наполняли компанию поздних советских писателей

в Коктебеле), и круг растопыривался, утеснялся, и всё чаще слышался взрывной смех. А кто-то являлся с запозданием.

— Внимание, — объявлял Олег Николаевич, — с ракеткой надвигается наш любимый Мыкола Шеремет. Смотрите, как он хорош: помесь запорожца с турком. Глаза щурятся лаской. Приготовься, сейчас он устроит эмоциональный приговор “Осени в Тамани”.

И точно: Мыкола Спиридонович обнял меня и сказал с интонацией докладчика:

— Я прочитал вашу “Осень в Тамани” с наслаждением. Что-то гоголевское есть в вашем Юхиме Коростыле, завораживающее мою душу. Вы настоящий поэт в прозе. У вас хороший эмоциональный накал. Ну, такая радость. Спасибо. Моя Вера Михайловна тоже в восторге. Всё это вдохновение, надеюсь, черпаете в коктельской Лягушачьей бухте.

— И, возможно, в поэтическом ежевечернем созерцании стаканчика хереса, — закончил с ехидцей Олег Николаевич. — Как хорошо стоим, друзья мои. Может, и правда черпанём немножко вдохновения в ларёчке. Будем вспоминать этот вечер. Всё пройдёт, будем жалеть. Последуйте, господа, за мной!

— И разве не помнишь, как все пошли к высоким круглым столикам ещё дружнее, чем стояли у белой балюстрады напротив столовой?

Если бы это повторилось!

Уже после ельцинского переворота Олег Николаевич, живший после развода на улице Маршала Василевского, позвал меня, я у него ночевал, пили, представь себе, херес и слушали Лучано Паваротти. Олег повторял и повторял: “У-у-у, какой божественный голос...” — крестился и плакал, потом несчастно сказал: “А ведь мы и в Коктебеле чуточку слушали его, у меня была кассета... Господи Боже мой, если бы ты пожалел нас и вернул нам наши дни... хоть ненадолго. Мы бы, может, догадались дорожить своим счастьем...”

О Коктебеле писал Константин Леонтьев. Я раскрыл эту приятную тайну недавно и выписал семь строк великого, не очень счастливого Константина Николаевича:

“Морской берег у горной деревни... Коктебель славится красивыми разноцветными камешками, и многие собирают их. Лиза хотела давно туда съездить; мы пошли одни и долго собирали у моря; собирали, но она забывала их на первом ночлеге”. Помаленьку ко всему привыкаешь, даже к счастью, которое принесло нам занятие литературой. Много и многих повидали мы благодаря литературе. Никогда бы я не приблизился ни к Олегу Николаевичу, ни к его другу Петру Васильевичу, не поздоровался с белогвардейцем Николаем Алексеевичем Раевским, полным, каким-то круглым, будто заблудшим к нам, советским, из старой царской России, не гостил бы на даче в Абрамцево у Юрия Казакова, не читал записку на заборе в Тарусе у дома Константина Паустовского, не ездил по Северу с Василием Беловым, Виктором Астафьевым, Дмитрием Балашовым, Владимиром Крупиным, Валентином Распутиным, а Владимиру Личутину не повторил игриво комплимент критиков, что он пишет так, будто легко бьёт серебряными копытцами, да и не исчислить всех благ, дорогих дней и минут, не перебрать всех писем и не выразить толком сожаления, что я и тебя бы, белесо-рыжий автор “Воспоминания о Соколе”, никогда не встретил и в Уятке твоей не побывал, Люсиного чтения стихов не послушал. От Гомера, Овидия, Горация до Александра Решетова из Перми протянула она ниточку и завязала в своей памяти тугой узелок. От неё я и узнал стихотворение Решетова “Цыганка”. Уж тебе-то она частенько читает. “Цыганка из Перми-второй // легко руки моей касалась // и милой старшею сестрой, // а не гадалкой мне казалась. // Она бессовестно врала, // но так в глаза мои глядела // и так ладонь мою брала, // что счастью не было предела...” И не было бы писем из Парижа — от белого офицера Сионского, от Бориса Зайцева и Георгия Адамовича, которых мы без конца поминали с Олегом в том же Коктебеле, и не побывал бы я с Олегом на могилах Романа Гуля и Александры Толстой в Новодивееве (штат Нью-Джерси), да и матушку не смог бы перевезти из Сибири

к Азовскому морю в Пересышь. Так я на старости лет бью поклоны литературе. Все четыре дня моих столований с вами в Коктебеле Олег Николаевич проверял впечатление, которое будет заметно по нашим глазам во время чтения двух-трёх страничек затеянного романа “Час разлуки”. Помнишь, как ты его хвалил? Херес ли возбуждал твои чувства или сочный слог? Но думаю, потрясла тебя сцена с отцом, попавшим в плен. Такого в кино мы не видели”.

— В Риге я был, — отозвался отец со своей виноватой улыбкой. — Нас согнали на железнодорожный вокзал перед отправкой в Германию. Несколько тысяч. Все были измучены, голодны... Еле держались... Будущего не было. И я запел. Помнишь, Валентина, ты мне её часто аккомпанировала — неаполитанскую песню. “Спой мне, хочу ещё раз, дорогая, услышать голос твой я в час разлуки с тобой...” Тишина наступила. Даже немцы затихли. — Он помолчал и добавил — Вокруг меня плакали... Заплакал и я... Алексей попал в Ригу через два года после женитьбы... и вдруг ощутил огромность этого пустого, несмотря на толпу пассажиров, ангара, представил себе, как отец начал петь сперва тихо — для себя, а затем всё громче, даже не в опасной — в оскорбительной близости немецких солдат”.

Молчали долго и мы.

— По силе духа, — сказал ты тихо и застенчиво, — это похоже на пленного героя из рассказа Шолохова “Судьба человека”.

— Недаром говорили: “Велик Бог Земли русской”. Это мгновение на Рижском вокзале, — подключился я, — можно бы повторить ещё и ещё... В разных случаях. Читатель должен пережить, вздрогнуть. Батюшка Георгиевский кавалер в первой войне? И это пусть станет щемящим. Вечные русские подвиги и вечная трагедия. Как советуют: пропишите, молодой человек!

— Ты мой камертон, — сказал Олег весело. — Будем стараться.

— Вот ты поздоровался утром на набережной с Фотием Ивановичем... автором... — бессмертного романа “Военная быль”, семьсот страниц.

— Бессмертного, но у него ни одной такой выразительной сцены нет. Такая война, а где ж наш русский Гомер?

— Я везде сколько лет повторяю: Гомер убит большевиками в гражданскую войну. Николай Алексеевич Раевский известен как пушкинист, но у него есть воспоминания, как бились, отступали в Крыму, как пробрался он в Феодосию. Это никогда не напечатают. Гомер раскидан по разным книгам, письмам, журналам. А пока... будем жевать Фотия Ивановича.

— А твоего батюшку я видел всего один раз. Сидели на кухне. Огромный! И что он говорил, не вспомню.

— Наверно, о выборах в Англии. Та-ак... У меня тоже закралась в уголок бутылочка “Чёрного доктора”. Жаль, что завтра кто-то дорогой отъезжает в Пересышь... Задержишь, мой милый. Татьяна Андреевна нас простит. Мария Степановна расскажет тебе про Георгия Адамовича, а Евтушенко пропёт стих про него же. Николай Степанович сходит с палочкой в Лягушачью бухту и принесёт нам вместе с камешками стихотворение о скифах, кроме того, каждый день эта “любопытная Варвара” будет приставать к болтающим московским дамам и господам, деликатно подслушивать, но никому не передавать их великие сплетни о Серебряном веке и прочих поэтических башнях. Шучу, издеваюсь, друзья, мои, чувствую, что Мыколе Спиридоновичу не терпится угостить нас хохлячей горилкой и потом пропеть: “Ты ж обещала мэнэ вил лубыты...” На что уж настойка на полыни у Льва Экономова хороша, и до того полезна для здоровья водочка на чесноке, а привет с Украины от Тараса Шевченко через Мыколу Спиридоныча прельщает больше. И так будем жить. Раевский поздоровается — и хватит, будем довольны. Никаноркин из Ялты в какой раз похвалится, как Евтушенко возвеличил его гениальную внучку. Вениамин Каверин будет целый час глядеть на мыс Хамелеон и вспоминать, что из “Серапионовых братьев”, которые начинали письма друг к другу фразой: “Здравствуй, брат, пишется трудно...” — почти никого не осталось, один Федин... Да кто же ещё? Г. Г. с берегов Кубани будет до смерти пугать старую вдову шекспироведа вопросом:

“Вы слышали когда-нибудь, как на ферме Гначбау под Екатеринодаром погиб Лавр Георгиевич Корнилов?”

Грустно теперь писать об этом.

Это разве я с горы Кучук-Енишарлы, чуть в сторонке от могилы Волошина, глядел на вечерний коктельский залив, на Кара-Даг, Сюрю-кая, а внизу в 3-м корпусе ждали меня на трапезу в комнате Мыколы Спиридоновича. Завтра я уеду в Пересыпь. Ты, дружок мой утятский, так и не потосковал с пером в руке по Коктебелю. Опиши хоть нынче, как мы долго гудели, заставляли Шеремета читать свои стихи и как, наконец, вытянулся над столом Олег Николаевич, просквозил нас тостом в честь русской армии и... запел “Спой мне, хочу услышать, дорогая...”

Почему нас там давно нет? Не чудится ли тебе, что над заливом всё ещё мерцают в пустой высоте наши слова и все-все разговоры пришельцев на берег с камушками?

Утром я выехал до Феодосии, пересел в автобус на Керчь, проскочил на такси к парому, скользил на пароме к кубанскому берегу, от косы Чушки недолго узнавал дорогу к Пересыпи, и надо мной, за окном, в проливе, в степи как будто не прерывалась страдающая редкая мелодия: “Спой мне, хочу услышать, дорогая...”

СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

И достигнут тебя такие сроки, когда больше всего станешь мечтать об одном: пожить бы вдоволь в Пересыпи, просыпаться в матушкиной хате, видеть сад, то пышный, то голый и тёмный (и такой сиротливый, плачущий), никуда не спешить, подолгу в иную пору гулять по берегу моря и беспрерывно читать давно отложенные книги (на ночь “Словарь сибирских говоров”).

Жить там и всегда к ночи замечать, куда уже подобралась луна.

Да, да, на старости лет пожить в тишине изо дня в день! Зачем мне городские медленные трамваи, запруженные машинами улицы, базарные толпы?

О, укрыться вечером в хате и почитать... Когда же это будет?

Помоги, Господи...

Как раз читаю строки о Благой Вести: “...овцы испуганно остановились, и пастух поднял свой посох, чтобы гнать их, и не мог опустить его...”

Дружок мой Олег Николаевич, помнишь ли ты, как жил в старости Державин в своей Званке? Не завидуешь ли ему? Вдали от Петербурга он, может, тосковал так же, как ты под Москвой, на краю писательского посёлка, но он не был обиженно одинок, рядом вздыхала верная жена, суетились дворные и слуги, с реки Волхов слышались голоса. Тогда господам-барам не скучалось в глуши.

В Пересыпи с охотой перечитываю его “Жизнь Званскую”. Читаю медленно, растягивая мелодию, будто иду по осенней аллее в величавой тоске; вдруг две строчки придерживают мое чтение, я встаю, выхожу из хаты и тревожно оглядываю сад и понижающийся к болотцу огород.

“Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не вспомняется нигде и имя Званки...”

И я тоже как-никак барин в своём поместье, согбенно схожу в подвал за холодным вином и, чуть-чуть страдая, жалея косточки поэта, косточки всех, кто два века назад жил при Екатерине, при Павле, при Александре, долго сижу на кухоньке, где я писал роман о Екатеринодаре, или в хате у окна в огород, зову вас всех, друзей моих далёких, послушать мои простенькие речи, погоревать, что парнасской державинской Званки в самом деле нет.

Она только в толстом кожаном томе “Истории русской словесности” Николая Полевого, на 83-й странице. На чьей-то “современной гравюре” вышпается и манит к себе двухэтажный дом на берегу Волхова; от него, удалённого от нас на два века, от построек внизу и мирных фигурок у воды веет идиллией. Та жизнь упокоилась. Нам в неё не войти.

“Возможно ли сравнять что с вольностью златой, с уединением и тишиной на Званке?” И я это читаю и слышу рокотанье лягушек за своим

огородом. Только пастушьего рога у нас не слышно, в фараон не играем и к обеденному столу не подбегают крепостные девушки; и ещё, Гаврила Романович, родной наш русский вельможа и поэт, не уподобимся мы никак в России пить за здоровье "...царя, цариц, царевичей, царевен", теперешних же царей (всяких выбранных вождей) только ругаем... Однако же моя Пересыпь занятней Званки.

Я переключиваю страницы Полевого тихонько, бережно, словно боюсь обидеть далёкий век торопливостью, разворачиваю заботливые вкладыши с автографами Екатерины, Державина, Радищева, Фонвизина, Жуковского, моего любимого Батюшкова.

И так хорошо, мой дружок, побыть невинным помещиком... Встать спозаранку, прогуляться по своим владениям (по огороду, то есть), там и там сорвать что-нибудь поспевшее, позавтракать еле-еле, а потом целый день поленишься по-барски, поваляться на диване, почитать что-нибудь старомодное, усадебное...

Вслед за строчками о Званке люблю я перечитывать письма старика Нащокина и воспоминания Веры Нащокиной о Пушкине. Читаю в какой раз когда-то мною подчеркнутое: "Хотел было писать тебе про старину, но это только оскорбляет и себя, и вас, ибо век не тот и люди не те стали".

Тут вздохну и я, думая о разнице послевоенных наших годов и нынешних, потом поброжу по берегу, испугаю чаек и тихо вернусь, опять прилягу, раскрою "Пушкинский сборник", гляну на даты жизни Нащокина (1758—1838) и его Дарьи Нестеровны, взятой в жёны из крепостных и называвшей мужа только "милый друг" или "барин", всегда при этом спрашиваю небеса: где они, эти старосветские помещики, знакомые Пушкину? Ощущаю при этом ветхую прелесть русского барства.

"Конечно, век не тот и люди не те стали. Бывало, покойница Елизавета Семёновна, не думая ни о каких предложениях, дурных дорогах, чего бы ей ни стало, непременно ко всякому Христову воскресенью, не глядя ни на какие дороги, ни на разлив воды, всегда поедет к батюшке своему Семёну Ивановичу — непременно разговется. Вообрази, какая приятная была отрада разговляться с детьми своими вместе, а я, несчастнейший старик, брошен всеми родными своими, лежу на одре болезни один-одинёшенек..."

В городе я сержусь, что нет вокруг меня зимней тишины на улице Чапаева, сельской скуки, где цедятся тихие дожди, всё вокруг замирает, время возвышается к вечности, древние тексты в словарях скорбят о потерянных веках. Но будет час, и я проеду Темрюк, Голубицкую, спущусь от маяка к пересыпскому гирлу и подойду к тоскующим воротам, над которыми к полуночи повиснет Большая Медведица.

Она, эта Медведица, моя полуночная спутница, я всегда под ней чувствую свою земную кротость.

В хате, в той комнате, где я спал, приезжая, ждут меня в двустворчатом шкафу тетрадки, блокноты, бутылочка со святой водой из Иерусалима, позвонок дельфина, когда-то (при матери) подобранный мною на берегу, изящная фарфоровая кружечка для ручек, купленная в Керчи, проза Пушкина, Диоген Лаэртский, биография Лермонтова Анри Труайя (на французском) и Висковатова, "Хаджи-Мурат" Толстого и мои всякие сочинения разных лет.

Зимой в хате тепло, матушка с чем-нибудь возится у стола в кухне, где теперь всегда пусто и уныло, или дремлет в своём закутке, проснётся, заглянет ко мне и благословит ласковым вопросом: "Всё читаешь? А когда же мы крёстной письмо напишем?"

Тишина покоряет душу, закрываешь глаза и долго тоскуешь по чьей-то смутно-чужой жизни, улучшенной изящным старым словом. Порою просто возьмёшься перебирать книги, растворять их, как ставни, пробежав по двум-трем страницам, захлопывать их с любовью и благодарностью.

Частенько я читал не один, допускал к некоторым страницам дальних друзей, смаковал вместе с ними что-то похожее на нас или очень родное сердцу, да и просто так заманивал разделить моё удовольствие. Особенно легко, шутливо, подражая старинному светскому стилю общения, сочинял я

послания во Псков литератору, не раз бывавшему в Тригорском. Я просил-ся взять меня с собой к тригорским барышням, а потом свозить в Голубово к уже дородной многодетной Евпраксии Вревской, на заросшем пепелище повздыхать о девяностом годе, когда “ещё целы были три чердака с книгами и бумагами”. Я любил копить в уме о Тригорском всякую мелочь, покупал всё, что писалось о его обитателях, и жалел, что не жил с детства рядышком.

“Будут меняться годы, народятся поэты и артисты, а Пушкин никогда больше не явится...” — сонно текли во мне сожаления.

“Ты с кем разговариваешь? — чуть напуганно спрашивала меня матушка, проснувшись. — Я подумала, кто пришёл... — Это я так. Играюсь. — Спал бы. Завтра утречком уголь бы перетаскать. Всех книг не перечитаешь”.

И потушив свет, укрывшись, я ещё озорно договаривал вдаль о том, что пушкинская Зизи (Вревская) нарожала тринадцать детей и совсем растолстела и что Господь не даёт, наверно, прекрасных усадеб кому попало, ещё долго возрождал усадьбу в Голубово, чудом находил вещи Вревских, построил и восстановил всё как было и, в конце концов, вышел во двор под незаменимую Большую Медведицу над нашими воротами, мельком погоревал, что и я когда-то состарюсь и погасну, как все до меня, и чуть слышно приоткрыл дверь к порожку, при свечении тонких колец на плите и поддувала проник к постели, завернулся в мягкое одеяло, но уснул не сразу, ещё понежился в разыгранных мною сценах в Тригорском...

В пересыпской глуши под дальний шум азовских волн или под укрытием долгого дождя легко было таяться и мечтать, разговаривать с дальними друзьями. Я даже переписывал судьбу великих соотечественников, удлинял им сроки жизни, заставлял долго служить то музам, то нашей русской истории.

“Представляешь... — вызывал я друга из сибирской деревни Утятки. — Если бы Пушкин дожил... ну... до 1881 года (до гибели Александра Второго), нет, прибавим ещё годика три... О, если бы Пушкин прожил столько... Оглянись вокруг. Толстой, Тургенев, Тютчев. И Лермонтов ещё жил бы, семьдесят лет ему, подумаешь! И Грибоедов не погиб в Персии, и Веневитинов не умер в двадцать два года, и Боратынский состарился бы в Муранове или в своей Маре... Другой был бы у литературы строй. Да и Россия чуток не такая. И как всё иначе писалось бы после пушкинского романа о 12-м годе, какой бы это русский Гомер возрос, как приутихли все хулители русского царства. А Лермонтов, может, ещё раз приехал в Тамань, разглядел бы казаков, а не каких-то там сочинённых ундин, ещё раз описал хату Царицыхи, попытал бы слепого, как ему живётся, расспросил бы про Сухое озеро, вышел через Сенявину балку к пахнущему камкой берегу... Сколько потерь... сколько ненаписанного про Тамань именно им... Ведь это великое несчастье для русского мира, что таким гениям не дан был Тицианов век. Ивану Аксакову разве шестьдесят один год жить? А Константин, его брат, ещё меньше. А Гоголь... Аполлон Григорьев... И разве зря я горюю? Они затмили бы всю нигилистскую нечисть. Толстой бы не посмел дерзить государям. А если бы в сорок девять лет не умер Александр Третий? Другая Россия была бы. У меня он царствовал бы до тридцатого года. Не было бы революции, войны с Германией, голода, красовалось бы казачество — донское, кубанское, терское, забайкальское. Есенин мог бы дожить до семидесятого года. Но чаще всего я думаю о Чехове. После гражданской войны увожу его в Париж. А лучше бы в Афины. В Париж он бы приезжал к Бунину. Мог бы запросто дожить до дня Победы. Лишних сорок лет писал бы ещё. Боже мой! Как нам не повезло! “Тихий Дон” бы читал. И вот так в одиночестве я часто жалею, предаюсь юродивым мечтаниям: ах, кабы да если бы...

Не всех ещё назвал. Константин Леонтьев мог бы дожить до 17-го года, но не до отречения, а до взятия Царьграда (он верил, что Царьград будет наш). Евпраксия Вревская (Вульф) умерла в Голубово в 1883 году. Как бы на старости они поговорили: Пушкин, она, вдова Нащокина, да и сам дружок Нащокин, да ещё Анна Керн. Вот о чём вздыхать надо, господа. И разве мои взрослые глупости не хороши? Это оттого ещё я горько мечтаю, что

русский мир наш испорчен уродами, везде глумление, попрание веков, незнание праотцев, русскую литературу засорили чужие люди (доморощенные иностранцы), из родничков давно не черпают ковшичком или пригоршней, а хлорную воду кипятят. Вот беда какая!.. И как тут не обернуться назад и не позвать (хоть и напрасно) на помощь русичей, зачем-то умерших, да к тому же так рано... Живу в тишине, Тмутаракань со своими тёмными веками рядом, в умных книжках — примечания, в конце — даты рождения, смерти, сожаления сами просятся... И это моя печаль русская. Пусть уж посмеётся кто-нибудь надо мной, ладно, стершим.

“Не начинайте перебирать книги в шкафу, — говорю я кому-то (сам не знаю, кому), — остановиться не сможете, и время уйдёт. Ещё и на завтра хватит”. А чистить библиотеку — это значит переносить книги из одного угла в другой, потому что выкидывать жалко...

Я вынимал книги, журналы, газеты, какие-то тетради и всё складывал в столбики, разбрасывал по полу, кое-что кидал к порогу — дарить или сжигать на огороде. В книжном обществе тоже много хлама, мусора, пыли и грязи. Дивишься в иной миг, зачем ты это скопил, берёг столько лет, кое-что прямо засовывал на самый верх? Зачем такое изобилие? Но кое-что вызвало нетерпение перечитать, ещё раз полистать, и я отбирал целую грудку и относил на диван.

И в какую-то минуту (да простится мне старый слог) упадаю на ложе, не досмотрев книги на полу, увлечшись раскрытой страницей.

“Дневник” княжны Марии Васильчиковой я только полистал и из предисловия князя Васильчикова выписал всего худенький абзац: “Она была четвёртым по счету ребёнком и третьей дочерью... князя Иллариона Сергеевича Васильчикова и его супруги Лидии Леонидовны, урождённой княжны Вяземской. Род Васильчиковых происходит от Толстых”.

Боже, да зачем это мне? Всеми не налюбуйешься, всех не запомнишь. Но задержался на “Дневнике” потому, что однажды написал о Вяземских в очерке “Сожаления” и привёл там таинственное письмо о гибели князя Леонида Вяземского на станции Грязи.

“Бойтесь книг”, — советовал профессор Гудзий будущим знаменитым литературоведам.

А книги хранят следы моей жизни.

Я приехал, раскинул в стороны дверцы шкафа. Книги, уставленные в одном и том же порядке всю четверть века, обиженно дожидались меня. “Здравствуйте... — словно прошептала моя душа. — Вы не стареете, а я...”

Эх, у меня столько редких хороших книг, каждая что-то знает про меня. Какую-то из них я выбираю чаще других, к иной не притрагиваюсь, она терпит и сердится. Об украденных у меня книгах я скажу позже.

Как дешёвы были книги у букинистов на Арбате, на улице Качалова в Москве, на Невском в Ленинграде! Вот под одной обложкой седьмой и восьмой тома Г. П. Данилевского, издание А. Ф. Маркса, 1901 год... Я купил её на Арбате возле Вахтанговского театра всего за 3 рубля!

Тогда суп харчо стоил 30 копеек. Данилевского могли украсть, и я бы не заметил, забыл о нём.

Оказывается, 4 апреля 1986 года (до моего пятидесятилетия оставалось двадцать шесть дней) я упивался “Семьёйной стариной” и не трогал “Беглого Лаврушку в Париже”, “Царевича Алексея”.

Не разобрав до конца книги в шкафу и на диване, я буквально присосался к страницам о патриархальщине, поудивлялся, как порядочно подзабыли Данилевского, вовсе не плохого писателя и отменного знатока украинской старины. Я вдруг стал читать вслух, что любили делать когда-то.

С улицы вошла в хату матушка и приостановилась посреди комнаты (где печка), замерла, слушала моё подражание старой певучей интонации.

“Прабабушка моя, Анна Петровна Данилевская, в девичестве Плотнокова, была фрейлиной великой княгини, впоследствии императрицы Екатерины Великой, и умерла на восьмидесятом году жизни, более пятидесяти лет безвыездно проведя в родовом степном селе мужа на Донце!”

И прочитал я 4 апреля матери всё до конца, она присела среди кучек книг на диван и, позабыв про огород, внимала истории барской жизни. С такой преданностью она выслушивала обычно письмо от сестры из Топок. Боже, был же этот миг в нашей жизни в Пересыпи на улице Чапаева, 3. Зацветала белым покровом вишня вдоль забора, приносили, может, мне газеты и письма, роман “Наш маленький Париж” лежал перепечатанный в толстой папке с тесёмками. Нынче (в сей вот час) перечитываю то же самое в память о самом себе. Если бы вернулся тот день, зашуршала тапочками во дворе мать...

Все деловые мысли надоели, сидел так бы в Пересыпи и только перечитывал напоследок заветные книжки, косил траву в саду, поливал деревья и кусточки, вечерами гулял по длинному пересыпскому берегу.

Надоели заботы, чужие и свои интересы, отчуждающие меня от созерцательной старости, от подлинной ветоши всех времён святоотеческих строк.

“И сия повесть многа лет ненаписана бысть из-за необходимой суеты и всяких мелочей”.

Книги, бумаги, мои старые записи скорбно и мудро зовут меня к покою, к путешествию по долгому времени.

Я раздражил любопытство к своему прошлому до того, что перерыл всю библиотеку, выставил столбиками отобранные книги и перелистал их, как бухгалтер, влупляясь в подчёркнутые строчки, числа и кое-где забытые мною собственноручные замечания. Приезжая, я всякий раз вынимал томик Диогена Лаэртского и читал наугад страничку, две, пять. И всегда начертал число, год. Я окрестил свою привычку “путешествием в Элладу”. Само святилище времени, тишина забвения сковывали меня, сочувствие всему, что процвело и скончалось давно. Все вместе мудрецы написали так много, и было жалко, что почти всё погребло. Я подчёркивал что-то близкое мне: “...и удалился на Эгину” (а я там был); “...говорят, он сочинял стихи, которые оставил под печатью в храме Афины в своём родном городе...”; “...усердие его дошло до того, что он написал свыше четырёхсот книг”, “...обилием сочинений и количеством строк он превзошёл едва ли не всех перипатетиков своего времени, а именно: об “Илиаде” две книги, “Об Одиссее” четыре книги, “О старости” и др.”. Однажды ученик пожаловался ему, что потерял свои записи. “Надо было хранить их в душе”, — сказал Антисфен. “Заниматься философией, — говорил он, — надо до тех пор, пока не поймёшь, что нет никакой разницы между вождём войск и погонщиком ослов”:

Это никому не интересно, кроме меня; никому не важно знать, что я когда-то читал. Но и вся жизнь моя никому не нужна, если её плохо описывать. Пишу-то я эти воспоминания... для себя.

“Когда я вспоминаю о своей родине, то мои мысли о ней складываются, как псалом”. (Г. Гребенщиков)

Я перечитываю эти строки, закрываю книгу о сибирских писателях, подаренную мне критиком из моего родного Новосибирска, милым, чудесным подвижником (давно почившим), и долго сижу один в сумерках в хате, наполняясь клятвой поехать в сибирскую сторону поскорее.

Ещё в печальном углу замечаю я книгу моего друга из деревни Утятки “Воспоминание о Соколе” с надписью: “Прочти строгими глазами “Плакала кукушка”. На полях повести поставлена дата моею рукой и волнистые пометки: “Да, да, дорогой друг, по рождению я — деревенский, и все мои привязанности и душевные муки там, на сельской улочке, заросшей густым конотопом”. Я там бывал и помню улицу в сплошной зелёной траве, и крапиву у забора, и сосновый бор на горизонте.

А порою так надоест рабочий беспорядок на столе и на тумбочке возле окна, где не сложены, а сброшены привезённые из города журналы и книги, да ещё вдруг в шкафу что-то покажется нестройным, перепутанным, и дернёшь из тесноты книгу, раскroeшь, а там почерком, похожим на строчки в письмах, приветливо желает тебе здоровья и “штов не только думалось, но и писалось пусть с муками, но сладкими. Виктор Астафьев. Ноябрь 1975 г.”.

Книга называлась “Где-то гремит война”.

О навеки пропавший 1975 год...

Я тихонечко отвернул заднюю корочку с последним листиком, ещё страничку перелистнул, и тотчас взгляд уловил то, что я почему-то не прочёл вовремя.

“Мы приближались к Овсянке. Я хлопал, хлопал лопашнями и, хотя сидел к берегу спиной, уже слышал и словно бы видел деревню и берег, или мне блазнилось?”

ПОРА. ПОРА...

Покладу на стол по правую руку Евангелие, обретенное мною 11 ноября 1993-го у монахов в Афинах, освященное в Вифлееме в Церкви Рождества Христова (в яслях на звезде), в Гефсиманском саду в Иерусалиме, в Назарете, в Тивериаде, в Капернауме, а через два года, 15 октября 1995 года, помеченное на заглавном листе росписью Святейшего патриарха Алексия Второго; рядом покладу “Сотницы” и подаренные мне в Москве другом “Старческие советы подвижников благочестия” и ещё “Молитвы последних Оптиных старцев”, буду каждый раз читать понемножку перед своим литературным вязанием, буду молиться и просить Господа и ангела-хранителя помочь мне войти в воду воспоминаний о матери, о тонких моментах своей жизни, написать с прощальным чувством и на сей раз “не упустить времени, которого уже мы по смерти не найдём”.

Завязав ещё при матери узелок домашней летописи, я потом более десяти лет накапливал в толстых тетрадах вороха строк, присаживался к столу в разные мгновения, писал что-то чувственное, что не восстановит самая сильная память, слова облекались мелодией, порою горьковатым страданием, тоскою и прочим, прочим откровением: всем чем-то близким, родным, колыбельным...

Всё это я уже сам никогда не прочитаю, потому что самая толстая щемящая тетрадь пропала внезапно.

Поэтому я затаил отставание в замысле ещё лет на пять.

Бесы подстроили мне наказание.

Разве я теперь смогу всколыхнуть то душевное “плетение слов”?

Будет тянуться в Пересыпи золотая осень, чайки у гирла не устанут взлетать и садиться, покраснеет на закате солнце и скроется где-то в Крыму, Большая Медведица посверкает над воротами, луна медленно перекинется от моста к Ахтанизовской, а я буду перебирать бумаги, писать и зачёркивать, торопиться и отдыхать с чужой книгой...

Помоги же, Боже.

(Продолжение следует)